

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ПАТЕРИК

МАНЕФА

Мать Манефа крохотными, то шаркающими, то хлюпающими шажочками пробиралась вдоль бесконечного речного забора. Грязь была непролазная, какая только бывает в северном сибирском селе самой глубокой осенью. Тяжёлые грузовики-вездеходы вдрызг размесили наикисшую за два месяца местную рыжую глину с крупным привозным песком и серыми опилками, и глубокие колеи напоминали залитые водой брошенные окопы и воронки неизвестной войны. Для пешеходов оставались лишь тонюсенькие прерывистые тропинки по самым краям оголившихся палисадников. И темнота, темнота – хоть глаз выколи.

До монастыря такого тыркающегося слепого ходу было ещё не менее получасу, и она опаздывала, опаздывала на службу впервые в жизни. А всё сестра. Разболелась, свалилась пластом и распустила хозяйство. Пришлось, благословясь у игуменьи, целый день провозиться в избе: сменить у больной постель, помыть полы и настоявшуюся посуду, протопить печь и наварить картошки. Потом ещё она почистила в стайке, покормила оголодавших кур и гусей, перебрала в подполе заплесневевшую морковь.... А вот капусту украли. Срубили кочаны с корня явно свои, соседушки. Только пеньки в огороде и остались. Воспользовались, злодеи, затянувшейся болячкой, в общем-то, всегда подозрительной и бдительно вредной, готовой постоять за своё «бабки Семёнихи».

Воспользовались.... Вообще в последнее время воровали в посёлке как-то совершенно безбожно. Совсем не так, как раньше, когда в основном таскала что с грядок молодёжь, да и то, более из озорства, нежели от голода. Теперь от всеобщей круговой безработицы крали зло, нагло, часто последнее. Старики уже не держали коров – их резали на выпасах заезжие с того берега Оби, но явно-то по наводке своих. Коровы пропадали у самых незащищённых. Да что уж там коровы, если собак половину уже съели. Собак! Пьяницы.

Манефа опаздывала, опаздывала на службу. Самый конец этого ноября выдался редкостно тёплым, первый обильно и рыхло выпавший, было, снег быстро стаял, а нового всё не подносило. Да и вообще днём постоянно стоял «плюс». Грязь за ночь толком не промерзала, и в калошах дальше двора не походишь. Монахиня очень осторожно переставляла ноги в огромных резиновых сапогах, взятых напрокат у вратарщика Сергия-болящего, высоко в кулаках зажимая подол подрясника. И чуть не плакала. Тридцать лет ходит в церковь, последние десять только и живёт этим, и вот – такая неурядица! А ещё темнота. Осенняя липкая мгла обняла со всех сторон неожиданно, – ведь выходила-то она от сестры, когда ещё только-только засмеркало, а вот теперича... стыдоба.... Когда на невидимой колокольне бухнули в первый раз, сердце отозвалось горьким укором. Стыдоба! Манефа отпустила юбку, охолодевшими, негнущимися пальцами левой руки перехватила узелочки самовязанных чёток, а правой быстро и колотче перекрестилась: «Мать моя Богородица, Царица небесная, не остави меня, грешную, не остави меня!» Глаза закрылись под внезапно обретшими свинцовую тяжесть веками. Щипануло солью. Колокол бухнул во второй раз, в третий. «Мати Пречистая, умоли Сына своего и Бога нашего, да простит мне прегрешения мои, да оставит долги мои. Как же так? Ну, как же это можно, опоздать-то? И зачем я так задержалась! Зачем? Покормила бы сестрицу, и ладно! А то вот же – поддалась на уговоры: «скотинка, огород!» Царица моя преблагая, надеждо моя Богородица! Прости, прости меня бесталанную...».

И вдруг ровно чьё-то дыхание коснулось лица, теплом прошло ото лба к подбородку. Кто? Что? Манефа открыла глаза, и... словно некий невидимый фонарь освещал перед ней край уличной обочины на пару метров вперёд. А в голове вдруг стало так ясно и звонко тихо, что только одна лишь мысль и билась пульсом около виска: «Слава Богу, слава Богу, слава Богу»...

Манефа сделала маленький робкий шаг в это освещённое пространство, потом, уже смелее, другой, третий... Свет двигался вместе с ней. Неяркий, не дававший вокруг себя никаких теней, он просто-напросто плыл впереди, мягко определяя лужи и колдобины, разбросанный строительный мусор и заскорузлые с лета коровьи лепёхи. А колокол звал, звал...

Надеждину свадьбу гуляла вся деревня.

Странно, но ведь её никто и никогда по другому и не звал: как родилась четвёртая дочка в семье Семёновых, так сразу и заговорили – «Надежда». Отчего-то всем вокруг было с самого начала ясно, что будет это человек серьёзный, немелочный, и уважение к нему необходимо выказывать изначально соответствующее. А ещё она росла красивой. Не яркой красавицей, но и не милашкой, не симпатягой какой-нибудь. Красивой. Её правильные черты лица, гордая осанка и плывущая походка неведомым магнитом тянули на себя взгляды и мужиков и баб. Даже свои, привычные, семейные непрестанно чувствовали, как с возрастом её светло-серые глаза, тяжёлую косу, тугую стройность тела заполняла некая, не позволяющая шаловливости, величаво гордая сила. А уж тем более это понимали и принимали все окружающие. И не ломали черёмуху в палисаднике, не толклись у калитки, поплёвывая семечками, и не дрались на пяточке за клубом ровесники, когда пришла её пора выходить замуж. Все понимали: Надеждиным женихом мог быть только самый-самый.

Такой и был в селе он один – высокий, сильный, голубоглазый... Всё произошло как по писанному: просто она повелительно твёрдо посмотрела в его голубые глаза на танцах, и он, вдруг понурившись, пригласил её на кадрили, потом на падеграс. А после почти молча, терпеливо не отмахиваясь от одуревших в цветении черёмухи комаров, проводил до дома. И провожал снова и снова. Пока в какой-то раз она опять сильно и долго не посмотрела на него из-за прикрытой уже калитки, и он, также хмурясь и притаптывая носком сапога только что пробившуюся крапивку, предложил пойти за него замуж.

Наверно оттого, что Михаил был настолько правильным, насколько может представляться деревенским жителям работающий, серьёзный и вдумчивый муж, мать Надежды даже для приличия за дочь не поревела, а прохлопотала все дни с поджатыми губами, совершенно затюкав, наоборот, как-то вдруг осевшего отца. Вроде бы и свадьба для их семьи была уже третья – кроме брата Ваньши, уехавшего куда-то строить неведомые города, старшие сёстры были вовремя и в очередь пристроены, – но батяня закис, явно затосковал по любимой дочке...

Свадьба шла как по колее. И в первый день, после того, как жених с дружками где силой, где подкупом, всё же сел рядом с невестой, то, за неимением попа, отец и мать сами отчитали уже незнакомые молодым молитвы и благословили их иконами. Только вот не нашлось иконы Спасителя, её заменили на Николая-Угодника. Кто бы на это обратил тогда внимания... Свадьбу гуляли всей деревней. Гуляли широко, пели протяжные хохлядские песни за сколоченными вдоль стен горницы столами, покрытыми невыбеленными холстами, а плясать под ядрёные русские частушки выходили во двор. Было удивительно мирно, кажется, даже мошकारа в эту плотную от пожеланий и намёков ночь никого не трогала. Ни единой драки.

Да была та свадьба 21 июня 1941 года. На второй день, когда уже жених под прибаутки и хохотушки пальцами выковырял из чурбака глубоко вбитую ребром мелочь, а новобрачная ублажила гостей пышным пирогом с фантами и загадками, вдруг прискакал с парома на толстой, чёрной от пота кобылёнке почтальон и гаркнул прямо в народ: «Война!»...

Мишу, её Мишу взяли в район ровно через месяц. Их, двадцать призывников, всех в белых рубашках, везли на одном длинном баркасе, а провожающие односельчане на десятках лодок плыли через вздутую мутную от своего изобилия Обь поодаль. В какой-то лодке гармонь пьяно нащупывала плясовую, но никто не подхватывал. Все всю дорогу молчали. Молчали и потом, у райсовета, когда молоденький и весь какой-то дёрганный офицерик, в новеньких скрипучих ремнях, рвано и бестолково кричал деланным баском о советской Родине и долге её защищать. Так и запомнилось его кукольное лицо, да этот ненастоящий, словно из живота голосок. И, лишь когда длинный – в километр, не менее! – неровная, изломанная неумением равняться колонна из семисот, испуганных новым званием воинов, парней и мужиков потянулась вниз, под гору к пристани, где, дымя огромной полосатой трубой и похлопывая от нетерпения колёсами, уже ждал

томский пароход, все разом закричали. Кричали страшно, натужно. Бабы вопили и выли так, словно уже знали: из этих семисот вернутся лишь пятнадцать.

Надежда не получила от своего мужа ни одного письма. В октябре на той же чёрной лошади почтальон привёз похоронку. Сунул и поскакал обратно. Ей самой было странно, но она перед этим ничего не почувствовала. И в этот момент тоже. Как будто неправда какая-то. Обида.

Домой к родителям Надежда не вернулась. Перезимовала в своей вдовьей хатёнке первый раз. Перезимовала во второй. Под вторую весну стал к ней под разными предложениями заглядывать конюх Петруха. Страшно худой, не взятый на войну из-за грыжи, он был жалко смешон, когда не находя слов, просто по полчаса сидел на лавке около окна, и туго молчал, приглаживая красной негнущейся пятернёй постоянно прилипающую ко лбу редкую белесую чёлку. Ей было неуютно от его присутствия, от этого вечно жалкого, робко просящего взгляда. Но и выгонять так просто, лишь оттого, что Петруха нетрезв, как-то не получалось. Ведь, действительно, до свадьбы не было у её Михаила преданнее дружка, чем этот Петруха. Он был самым верным Мишиным заплечником, ходил хвостом, серел тенью везде и при всём, кроме как сватовства. Да, до свадьбы. А на свадьбе даже на второй день догуливать не пришёл. И с ней, уже как уже Мишиной женой, здоровался только издали, не подходя. Но улыбочиво.

Петруха был литовцем. Их много тогда выселяли в Сибирь – поляков, эстонцев, хохлов. Кучковались по народностям, у каждого был свой срок ходить отмечаться в комендатуре и свои ответственные. А в сорок первом подвезли в деревню и поволжских немцев. Все нищенствовали и бедовали одинаково, но меж собой притирались сложно. Молодёжь ещё как-то находила общий язык, а старики жили подчёркнуто раздельно. Для коренных сибиряков это казалось непонятным: как так, у соседа нужда, а ты – как бы и не видишь? Но что тут поделывать, таков уж у новичков был характер. Не поняли ещё, где оказались.

Петруха заходил всё чаще и чаще. И помогал по-мужицки: то дров подвезёт, то смёрзшийся навоз от стайки по огороду раскидает. Печь лопнула – замазал и трубу переложил... Надежда уже и привыкать стала понемногу. Как вдруг он пропал. И понеслась по проулкам свежая сплетня: «Вешался, мол, из-за неё. Присушила... Работал на неё как раб... Высох в щепку. Ослабел... Вот тебе и вдовушка. Ведьминский-то взгляд. Любого сдавит... Сначала Михаила извела, а ноне вот этого. Теперь в больнице откачивают. Горло перервал: более говорить не сможет».

А он-то и раньше не особо болтал! Ой, вы милые соседушки! Чем, собственно, эта его выходка вела к её осуждению? Разве она в чём повинна? Повинна-неповинна, а молодая вдова – всем зацепка. Молодая вдова.... Почему и отчего вдруг впервые ощутила Надежда эту давно вызревавшую вокруг себя злобу, враз всей кожей прочувствовала как-то раньше не понимаемую окружающую зависть. Вдруг все те, кто раньше ей улыбался и ласкал словами, стали в лицо и за спину колоть и жалить – на работе в конторе лесозавода, в хлебной очереди, у колодца. Задирали злобно и понапрасну больно. И стар, и млад. Все. Надежда решила дождаться навигации и уехать куда-нибудь подальше в Васюганье на лесоповал. Уже и со своим начальником НКВД договорилась, чтобы оформиться вольнонаёмницей. Как вдруг опять Петруха вошёл и молча сел на лавку под окно. Сидел, постепенно трезвея, до темноты. И остался её новым мужем, – так она разом все рты замазала.

Бить он её начал через две недели. Ибо хорошо понимал, до обидного постоянно чувствовал: это не он взял её своим обречённым ухаживанием, а она его. И даже не из жалости. А из этой своей надменной гордости, назло соседям, назло всему миру. Бил сначала только по особой пьяне, просто походя вдруг тыкал кулаком куда придётся. А на следующий день страшно мучался, до вечера в избу не входил, бестолково ковыряясь по хозяйству во дворе. Боялся, что выгонит. Никак не хватало его пропитого умишки, чтобы осознать то, что уж если она так решила – пойти за него всему свету наперекор, – то, теперь уж, тем более никто её назад не повернёт. Нет на свете такой силы. Но потом, когда она забеременела, осмелел, стал колотить постоянно, долго и жёстко.

Родила она своего первенца дома. Мать помогла. Сын. Счастливый до нельзя Пётр вынес свёрток на улицу на следующий же день. Чтобы все видели: он теперь отец. Не сомневались. Стоял, ждал – кто пройдёт, позвать на угощение. Ждал и дождался.

К их дому подбежала ватага мальцов, за которой посредине улицы следовал в окружении любопытством взведённых до крайности односельчан – Михаил. На груди, повыше других орденов и медалей, ярко горела на солнце золотая звезда Героя. Толпа из баб, дедов и молодежи приблизилась вплотную и полукругом около калитки выжидаяще, жадно, до бездыханности, затаилась.

Пётр, до того только всё сильнее прижимавший свой свёрток к груди, вдруг часто затопал ногами и, задыхаясь, закричал, пронзительно закричал срывающимся на визг тоненьким голоском: «Всё! Всё! Уходи! Уходи, откуда пришёл! Она – моя, она теперь моя!» Кричал збиваясь, уходя в свист: «Всё! И ребёнок мой! Вот, взгляни: мой!»... Михаил, до черна загорелый, с новыми, незнакомыми морщинками вокруг втянувшегося рта, на глазах отекал, ронял плечи. Зачем-то снял фуражку, смял в комок, аж козырёк сломался. Потом растерянно заозирался по сторонам, словно ища опоры, пока вдруг не увидел её. Надежда и Михаил с минуту смотрели друг на друга через мутное стекло низенького оконца. Тишина вокруг них стояла просто наощупь густая. Михаил развёл руками, неловко повернулся и, качаясь, пошёл назад. Больше она никогда его не видела.

В этот вечер, впервые за много лет после детства, встала Надежда на молитву. И слова сами вспоминались.

После ей рассказали, что, оказывается, попал Михаил в первый же свой день войны в окружение, бежал из плена, затем долго партизанил. И, как хороший диверсант-подрывник, был заслан в Болгарию, в глубокий тыл врага. Где и получил Героя.

С мужем они вырастили двух сыновей и дочь. Да беда, запойность отца передалась по наследству. Старшой так и не женился, всё болтался по разным шабашкам, что-то и где-то строил. Пока не загремел в тюрьму, где заболел туберкулёзом и умер на тридцать втором году. Дочь уехала за мужем в Донбасс, родила там две внучки. Жила с мужем по-разному, но жила. Первое время ещё присылала то письмо, то открытку к Новому году, но уже лет пять замолчала наглухо. И редкие отчаянные письма овдовевшей в шестьдесят матери возвращались с казённой пометкой: «Адресат выбыл». Младший... Младший прибился недалеко, в Томске. И он-то как раз не забывал мать, не ленился заглядывать в деревню за продуктами, выращенными на её огороде, и за деньгами – выпрашивая то «на холодильник», то «на шифоньер» из по крохам накопленных пенсий. Сношенька попалась подстать, пили они напару беспробудно. Гнали самогон и пили до белой горячки. Отсюда и внучок Дмитрий, которого они ей подкинули от крайней своей развратной нищеты, страдал падучей.

Был Дмитрий музыкант от Бога. Совсем малышом, с семи лет он каждый день из однокомнатного панельного ада родительской квартиры на самой окраине Томска самостоятельно уезжал на трамвае в музыкальную школу при Доме учёных, и посещал там подряд все кружки и классы, где только звучала какая-нибудь мелодия. Ибо открылся у Дмитрия идеальный слух: и летам уже к десяти любой инструмент, попадавший в его руки, через несколько часов начинал звучать совершенно грамотно, особенно хорошо пошли фортепьяно и флейта. И пел он, тонируя удивительно точно. Педагоги кормили его, приносили одежду от своих выросших детей. Но от интерната мальчишка отказывался наотрез.

Надежда всегда брала внука на службы в Петропавловский собор, когда наезжала в Томск. А после того, как Дмитрий переселился к ней уже окончательно, пристроила его петь на клирос. Мальчику достаточно было пару раз постоять около регента, как он уже самостоятельно разбирал гласы, правильно пропевал взятые на слух незнакомые славянские слова. Причём клиросное пение приносило ему и физическое облегчение. Стояния на службе снимали душевное напряжение, и припадки, если и не отступали совсем, то проходили менее болезненно. Но кроме пения Дмитрия ничего в церкви не привлекало. Священства он сторонился, причастия, подростки, категорично не принимал. А когда по её просьбе кто-либо из батюшек пытался «провести с ним беседу», то получалось только хуже: внук начинал бесновато ёрничать, доходя до открытого богохульства. Взгляд у него в такой момент становился страшным, неподвижно тяжёлым – как перед припадком. Мутно чужим. словно кто-то проглядывал сквозь его глазницы, как через грязные окна. Она пугалась этого чужого взгляда и долго не приставала со своими проповедями. Ладно, лишь бы на службу ходил. А там как Бог даст.

А ей самой Бог вдруг да дал радость монашества. Мысли о монастыре караулили её давно и настойчиво, особенно после похорон старшего сына. Но как? И где? Вот так, взять да и окунуться, оборвать всё... Уехать и бросить этих своих, таких беспомощных и бестолковых? И куда ехать-то? В Пюхтицы? В Дивеево? Кто там ждёт? В этакой дали... Но монастырь нашёл её сам. Присланный к ним на новозарегистрированный приход иеромонах оказался человеком отчаянным. Свято веря своим предчувствиям – что на этом, внешне столь неприглядном и задвинутом от больших дорог месте поднимется иноческая обитель, он совершил невозможное. Какими правдами и неправдами удалось ему склонить своё и гражданское начальство, но через два года патриаршее благословение было получено. А с другой-то стороны, как же иначе? Явная воля Божия: лесозавод-то времён «культы личности» – это ж сколько крови эту землю-то напитало, сколько муки насытило...

Батюшка подавал пример своей жертвенностью, а они тянулись за ним, тянули свои жилы. Страшно и вспомнить первые три-четыре года: как грузили и разгружали «КАМАЗы» с кирпичом и цементом, таскали носилки с бетоном, песком и мусором, копали траншеи наравне с мужиками. В очередь несли недельные двадцатичасовые кухонные вахты – это когда в трёх шагах от раскалённой печи в щели и дыры затянутого полиэтиленом окна резал ледяной сквозняк, и сыпалась снежная крупа с сорокапятиградусного мороза. А нужно было ещё ухаживать за обессилевшими стариками, стирать бельё на полсотни рабочих, шить облачение для голого храма, петь и читать на службах. И исполнять непривычное пока монашеское молитвенное правило.

Надежду батюшка посылал улаживать отношения с местными властями. Его в первое время, пока не поняли, с кем имеют дело, всю притесняли: свой лесозавод, а кривой досточки не то, чтобы подать – продать «попу» не желали. Ни тягача, ни экскаватора для церкви не давали. Точно блокада какая-то. Даже щебень для бетона из города завозили! И в какой-нибудь такой, уж совсем отчаянный для стройки момент, она входила к поселковому начальничку в кабинет, грузно садилась напротив и сильно смотрела ему в лицо. Ох, и боялись они этого взгляда. Надежда смотрела и знала: никто не выдержит, не откажет. Выматерит, набогохульствует, но не откажет. И она, опять гордая и счастливая, важно прейдёт в храм с очередным разрешением на просьбу.

Но была, при всех тяготах и скорбях, на всех у них одна радость – служба. Каждодневная литургия. Каждодневная! – служил их иеромонах к себе без пощады. Так вот, слава тебе Боже, всё вынесли, всё вытерпели. Даже как-то скоро, мельком пролетели эти годики, только что здоровье поунесли: кто ослеп, кто обезножил...

Постригали первыми их пятерых. Постриг совершал сам владыко – великая радость, сладкая честь. И чем бы только можно объяснить, что были эти пять давно уже бабок, вроде, как и не первый год знакомы, вроде как бы и трудились на стройке бок о бок, рядом молились и постились, но в тот вечер, в ту ночь стали они воистину сёстрами. Арсения, Иоанна, Ангелина, Анфия и Манефа – с каким наслаждением долго они ещё и по любому поводу окликались друг друга своими новыми ангельскими именами. Пять душ, пять судеб, характеров, даже внешне как пять пальцев руки совсем непохожих. Но, как эти самые пальцы, они теперь налиты были одной кровью, одной силой и волей. И сочувствием. Действительно, сёстры во Христе. У других, «молодых», постригаемых позже, такой благодатной любви уже не наблюдалось. И ещё – после её пострига внука оставила падучая.

А через год случилось чудо. Даже и говорить страшно. Но, а как иначе – это же урок смирения для всех очевидцев. Наглядный урок.

Одним разом отравились поддельной водкой сын со снохой. И Димитрий вдруг запсиховал, захотел уехать из деревни назад в Томск, в освободившуюся родительскую квартиру. Глаза его опять бессмысленно помутились, с бабкой, тогда ещё жившей с ним вне стен монастыря, стал невыносимо груб, и от его святотатственной ругани не спасали ни молчание, ни молитва. Категорически отказался помогать убирать огород. И они вдвоём, со старшей сестрой, две недели выкапывали из расхлябанной до сметаны – под месяц непрекращающимся мелким дождём – земли подгнивающую на корню картошку. Обмывали каждый клубень, сушили насколько возможно в амбаре, сами таскали шестиведёрные мешки в погреб. А этим временем Димитрий, надев наушники, беззвучно играл в горнице на своём электрическом пианино. Только тихо пощёлкивали клавиши под его тонкими длинными пальцами с аккуратно подрезанными квадратными ногтями.

Вот после той уборки и почувствовала она себя совсем нехорошо. Прихватывало, бывало, и раньше, но тут вступило и больше не отпускало. Она терпела, как могла. Пользовалась народными средствами, заказывала молебны. В каждодневной очерёдности читала акафисты Матери Божией, Николаю Угоднику и Пантелеймону Целителю. Но потом стало совсем немоготу, и игуменья благословила на проверку в больницу. Там врачи, сделав рентген, ахнули и отправили прямо в Томск. Городские подтвердили диагноз: рак прямой кишки. С обширными метастазами. Даже оперировать с их точки зрения не было никакого смысла. Мать Манефа наотрез отказалась от их лекарств и уколов, подписала все отступные бумажки и вернулась домой – в монастырь.

Что ей нужно было объяснять? Это был венец, совершенно достойный всей её такой жизни. Ведь как судьба только до того не ломала – она терпела, несла. Гордостью, не сознанием, не идеей, а ощущением своей внутренней самодостаточной силы, она держалась до последнего, переносила одно испытание за другим. Но это стало уже сверх всякой меры. Мучительная, непрекращающаяся боль, не дающая вспомнить ни о чём и ни о ком. Ни хорошо, ни плохо – просто ни о ком и ни о чём. Такой боли ей оставалось ещё на месяц или на два. И что ж, разве она не монахиня? Зачем же тогда обеты, зарок и обещания Богу? После молебна со всеобщей монастырской коленопреклоненной молитвой о её выздоровлении, она скупно простилась с Димитрием, оставив его и всех родных с их собственными судьбами, взяла только старую складную кровать и побольше чистых тряпок, и перешла жить прямо в храм. На службах, начинавшихся с шести утра общим утренним правилом и акафистами перед литургией, и до ухода из церкви последних людей в двенадцать ночи, она, как могла, стояла на выносе Евангелия, при принесении Даров и причастии, тихо-тихо подпевая клиросу на требах. Когда же становилось совершенно нестерпимо, то ложилась в свой уголок за занавеску под «Иверской» и тайно плакала. Ночью, если не было паломников, в храме они оставались вдвоём с иеродиаконем Матфеем, который на такой же раскладушке уже два года – со дня начала службы в недостроенном ещё храме – спал в промерзающей до инея ризнице. Манефа зажигала от лампадки оставшиеся со всеобщей огарочки свечей перед панихидным распятием, ставила рядом на переносной аналойчик тяжёлую книгу, и читала, читала кафизмы.

Древние певучие слова псалтыри постепенно охватывали дух, прохладно отделяя его своей стойкой, журчащей мелодией от изболевшегося тела, от рвущего на части внутреннего огня. Голос набирал уверенность, дыхание более не сбивалось, сердце сильными толчками отбивало ритм. И словно разверзались вокруг серые, грубо оштукатуренные стены и перед ней открывался мир никогда не виданных ею южных стран. Словно сам святой псалмопевец вводил её в густые изумрудные сады и золотые пустыни, в пронизанные солнечными лучами леса на склонах круглых гор, где тонкий легконогий олень пил хрустальную воду из-под водопада, а рядом павлины распускали свои сверкающие хвосты. И плакала Манефа уже не своей болью, а тоской царя Давида, гонимого по пещерам людской несправедливостью и предательством. И радовалась вместе с ним: ибо так близка к нему была божия длань, так чутко к его пению божие ухо, что все полки врагов и завистников казались перед этой близостью пылью. Строки псалмов, изгнавшие и сокрушившие врагов, словно по ступеням возводили затем и её саму на вершину некоей горы. Наверное, это была гора Синай – ибо с её вершины открывались реки, города и страны всего мира. И все народы с возведёнными руками, все эти горы, реки, цветы и травы, птицы и звери единым дыханием славил Бога.

Она сама не заметила того момента, когда она легче стала переносить дни. Легче ли? Нет, слёз не убавлялось. Причащаясь каждый день, с каждым разом на исповедях она теперь под епитрахилью священника всё горше плакала об одном: о своей врождённой гордости. Гордости, которая мешает ей вот так же безоглядно просто и радостно славить Господа в общем хоре. Славить за всё. Славить со всеми – едино, равно, по детски просто.... Славить как все... С каждым днём эта упругая, жёсткая и колющая, как железная стружка, мысль о проклятом внутреннем одиночестве своей неотступной мучительностью всё более подменяла физическое страдание, вытесняя рези и жжение. И когда через месяц за ней специально приехала из города машина «скорой помощи», она равнодушно терпела все снимки и анализы. И был ужас, да, да – не удивление, не испуг, а именно ужас в областной больнице, когда выяснилось, что за тридцать дней от рака крайней стадии не осталось и следа. Повторно брали анализы, повторно светили рентгеном. Потом опомнились и постановили: была допущена ошибка в диагнозе. Ошибка? Это уж кто как

верит. Но только стали по одной к ней в палату прибегать врачихи и сёстры, принося кто сок, кто яблочко и, крадучись, делиться своими горестями и надеждами. Беседовали ночи напролёт о Боге, о чудесах. Советовались о себе, о родных и близких. А что им можно было сказать нового? Молитесь да трудитесь. И терпите.

Прошло ещё два года. Мать Манефа живёт теперь в основном на выселках, кроме субботне-воскресных служб, крайне редко, только по великой нужде бывая в посёлке. Выселки эти лежат в пятнадцати километрах совершеннейшего бездорожья. Только сибиряки понимают, какой длины порой бывают эти, намеренные неведомыми топографами, километры. Монастырю там под подсобное хозяйство выделили двести пятьдесят гектар сельхозугодий когда-то вымершей «бесперспективной» деревни. В основе своей угодья эти составляли засоренные тальником и шиповником бывшие пахоты и покосы, узко разбежавшиеся по гривам меж заливаемых по весне болот. Перевезли пару изб, поставили баньку, стайки для скотины, сарай для какой-никакой техники. И назначили Манефу ответственной. А как иначе? В монастырь последнее время обильно прибывали всё новые и новые люди, ехали по одному и целыми семьями со всей Сибири и даже России. Но что-то народ подбирался в основном городской – всё инженеры да учителя. На земле они были слепы и безруки, и, не смотря на свои бывшие диссертации и искреннее желание трудиться, малополезны. В лучшем случае, дачники. Вот и получалось так, что без её умения указать место под капусту или лук, без её навыков принять у коровы отёл и вовремя определить сроки высадки в перегоревшие навозные гряды огуречной рассады, долго ещё, пожалуй, никакого путного хозяйства у монастыря не было б. За этим-то, наверное, и оставил её Господь пожить ещё на этой земле. Для такой вот пользы.

Перебираясь вдоль заваливающегося в разные стороны штакетника за указующим пятном света, Манефа на вечерню не опоздала. И никакого чуда: просто болящий Сергей-вратарник, по совместительству в будние дни звонивший в колокол, безответственно заспал в своей келье. Проснувшись в наступившей темноте, он со страху перепутал время, и, чтобы не получить игуменской взбучки, без благословения влез на колокольню на полчаса раньше срока. Так что, нагоняя всё же не избежал.

ГАПОНЯ

Было это уже незадолго перед революцией. Да, пожалуй, в году пятнадцатом. Лето тогда на средней Волге стояло просто удивительное. С мая прошли обильные дожди, и через месяц поля с рожью поднялись в пояс, а трава к покосам подошла просто дурная. Тетерева не могли взлететь – их так и ловили руками. Косари, слушая густой звон кузнечиков, уже сладко томились, всей грудью втягивая несомый с еланей медовый дух: Троицу давно отгуляли, доедали Петров пост, а там и – с Богом!

Именно за день перед Иваном-Купалой и вошёл в сельцо Рубское Лысковского уезда Нижегородской губернии бродячий музыкант. Вошёл не с большака, справа из-под горы тяжкой рыже-пыльной петлёй восходящего к полусотне дворов, двумя улицами оседлавших холм, а левой полевой дорожкой, через плотину, подпиравшую длинной кривой пруд с впадающей в него малюсенькой густо-синей Ороской. С этой стороны, над крутым косогором, посреди темно-зеленой берёзовой рощицы бело вознеслась острой колокольной Предтеченская церковь. Храм для такого крохотного сельца был знатным, на зависть всем соседям. Построенный в 1814 году старой графиней Уваровой, как обетование за сохранённую в наполеоновскую кампанию жизнь любимого внука Ивана, дважды раненного и лично награждённого австрийским императором в госпитале после Ватерлоо, он был чистым отражением модного тогда классицизма: колонны, портики, строгие бело-штукатуренные стены с узкими высокими окнами. Графиня и опекала храм до самой своей смерти, собрав в нём прославившийся своей красотой и итальянской выучкой крепостной хор. Расписывали храм арзамасские живописцы, а иконы в липовый резной и вызолоченный иконостас заказали в мастерских Владимирского владыки. Но, после её кончины, неведомыми в сих местах петербургскими потомками церковь была забыта и надолго оказалась в

запустении. Потом дали свободу, и предоставленные себе крестьяне пяти ближних приходских деревушек едва-едва уже могли просто прокормить попа с дьяконом, а не то, чтобы поддерживать или, тем паче, продолжать украшательства. Так, к восьмидесятым годам девятнадцатого столетия, Рубский храм Рождества Иоанна Предтечи пришёл в полное оскудение. Крыша нещадно текла, размывая и осыпая росписи, рамы без покраски гнили, то и дело роняя стёкла. И ветра внутри дули так, что даже выгороженная для зимних служб передняя треть храма не могла сколько-нибудь приемлемо прогреться от огромной прожорливой печи. К концу литургий прихожане околевали до полного бесчувствия. Какое там ещё от них покаяние – и так уже мученики, страстотерпцы, да и только!

Сколько же, наверное, пролилось горьких и тайных слёз на сугубых священнических молитвах, сколько же ночных зареканий и великопостных обетов услышали быстро почерневшие в сырости иконы, но только в самом начале этих вот восьмидесятых и приехали на свою родину из Москвы два купца брата Сытиных. Эти бывшие уваровские крепостные, получив волю, сразу же уехали из Рубского искать торгового счастья в древней столице. Начав с извоза, они скоро сумели организовать в первопрестольную поставки продуктов из родных мест, и процвели на глазах, – чем и попали в сферу интересов секты скопцов. Москва в то время вся была пропитана сектантским духом, даже каждое сословие имело какой-нибудь только свой собственный соблазн. Дворяне спиритствовали и пашковствовали, мещане молоканили, фабричные хлыстовствовали. А купцы, коли не беспоповцы, так улавливались скопцами. Хотя иной раз и перемешивалось: кто ж не помнит про «духовный союз» княгини Татариновой?.. Старший Сытин к тому времени уже собирался жениться, но невеста странно «вовремя» умерла. Так или иначе, но через год братья «оседлали первого коня», а ещё через два и полностью оскопились. После введения в секту, им были открыты самые широкие кредиты, торговые дела пошли с огромными оборотами. И были эти братья в своём сектантском увечье теперь уже совершенно неразлучны, как отчего-то часто и бывает в этом тайном изуверстве. Просто расстаться не могли.

И вдруг младший Сытин сильно заболел. Его постоянно мучила изжога, рвало от любой пищи, тянуло судорогами. Он желтел и слабел просто на глазах, а врачи – свои и иностранцы – бессильно горбились и прятали глаза. Счёт остаточной его жизни пошёл на дни. Старший брат безотлучно сидел у его постели и безоглядно платил направо и налево за любую надежду. Вот в это время и рассказал им кто-то из бывших односельчан, служивших у братьев в извозе, что около Рубского храма из-под горы забил сильный родник. И что на этом источнике уже было два видения Богородицы и служили по этому поводу молебны. Местные болящие бабы стали купаться в положенной там колоде и окунались в ледяную воду ребятишек. Очень, говорят, многим помогало.

Услыхав про такое, Сытины уже через два дня были на родине. После службы с заказанным на источнике молебном, младший трижды окунулся в колоде и уже к вечеру почувствовал сильное облегчение. На другой день омовение повторилось, а через неделю болезнь и вовсе оставила. Так и обрела церковь новых покровителей. Первым делом перекрыли демидовским железом крышу, заменили сосновые рамы на дубовые. Батюшку и диакона облачили в новые дорогушие греческие ризы, расцветками на все двенадцатые праздники, в алтаре засияли серебром и позолотой священные сосуды из мастерских круга Фаберже. На выносах вдоль стен встали резные с позолотой киоты с иконами в тяжёлых серебряных окладах. А старая Казанская, с которой теперь каждое воскресенье ходили молебном на источник, оделась в бархатно-парчовый оклад работы киевских золотошвеек, с обильными самоцветами и крупным речным жемчугом. Вновь под куполом мощно зазвучал полноценный наёмный хор.

Вот в этом хору и пел Гапонька. Худенький белобрысый подросток был «порченным». Его совсем маленьким страшно перепугал бык, на его глазах вначале одним взмахом рога выпустивший в дорожную пыль кишки отцовской лошади, а затем затоптав в кровь и самого отца, бросившегося на защиту Рысухи. Мальчонку, столбиком застывшего у забора, спас их сельский кузнец, неожиданно накинувшийся на взбесившегося быка и проломивший ему лоб быстрым ударом кувалды. Гапонька после случившегося долго вообще не говорил, только мычал. А потом стал понемногу объясняться, но заикался страшно. Понимали его только свои. Из жалости к нищенствующей после трагической смерти семьи (общество выделяло по мешку пшеницы на рот:

на семь ртов – семь мешков), батюшка взял троих старших ребятишек в хор, где за пение их кормили и выдавали долю «приноса». И, вот удивительно – не могущий чисто выговорить ни единого слова, Гапонька на клиросе запел. Чудо, как запел. На святках заглянул в обновлённый храм благочинный архимандрит из Лыскова, услышал в его исполнении соло и ахнул: «Голосок-то просто ангельский!» И, конечно же, забрал сироту к себе.

За несколько лет обучения мальчик не только научился читать и писать, но и овладел музыкальной грамотой. Но всё молча. Старый-престарый архидиакон отец Феофилит, помнивший ещё старуху Уварову, обучая его нотам, репетиции проводил в сопровождении маленькой переносной фисгармонии. Гапонька просто влюбился в инструмент, так подражавший голосу и даже дыханию человека: словно кто-то подпевает рядом на незнакомом тебе языке! И лучшей наградой считал для себя возможность почистить, протереть красивые инкрустированные узоры и плетёные немецкие буквицы, а потом и немного поиграть на нём. Он очень скоро научился подбирать на фисгармонии знакомые церковные мелодии. Пробовал и светские песни, но был наказан.

Когда Гапоньке исполнилось четырнадцать лет, его чистый, действительно ангельский голосок просел, загрубился, а затем и вовсе пропал. В запевалы хора вывели другого мальчика, а его всё чаще посылали на подсобные работы большого благочинного хозяйства. Старый монах жалел Гапоньку, и поэтому игра на фисгармонии тайно продолжалась. Продолжалась до самой смерти учителя. После отпевания Феофилита, новоназначенный регент хора иеродиакон Никита и про Гапоньку знать не захотел, и инструмент запрятал куда подальше. Из-за сильного заикания к службе в храме его не привлекали. Так что парню остались дрова, мётлы, помой с кухни под строгим присмотром всех, кому было скучно, да лишь радость кратких вольных ночей на покосах и осенних лесных заготовках. Зимы же тянулись бесконечно.

Капель будила тягу к чему-то дальнему и чудному. А после пасхального разговения забор и вовсе казался проклятием. И вот в одну из светлых, уже предлетних ночей Гапонька пропал. Пропала и фисгармония. Искали ли его? Вряд ли. Иеродиакону влетело за халатность в отношении благочинного имущества, а старшему дворнику – за неумение читать мысли послушников. На том всё и успокоилось.

А через два года появился в поволжских деревнях бродячий музыкант. И видели, и знали, и полюбили его селяне вокруг Богородска, Кулебак, знали в Шумерли и в Сергачах. Бывал он даже в Арзамасских и Саровских местах, хотя в сами города он никогда не заходил, видно бродяга был беспаспортным.

Музыкант, всегда босой, входил в село, неся за плечами большую пропылённую котомку. Местные ребятишки тут же облепляли его и безотрывно сопровождали повсюду шумливой ватагой. А старшие оказывали гостю приём от всего мира: в избу, в которой он останавливался только по своему выбору, со всех сторон несли молоко, выпечку, яйца и рыбу. Договорившись меж собой, так же всем миром высвобождали чей-нибудь амбар из наибольших, бабы чисто выметали его, снимали паутину, а мужики сколачивали лавки. Потом все разбегались для неотложных хозяйских забот: встречали стадо, доили, кормили и убирали. А вечером, опрятно и празднично одетые, семьями чинно сходились на концерт.

Бродячий музыкант разбирал и, протерев, собирал свой инструмент загодя. Долго и аккуратно устанавливал его, проверяя ножки, пробуя педали. Садился на табурет бочком к собирающимся и рассаживающимся по амбару крестьянам. Не глядя ни на кого, разминал пальцы, что-то мычал и начинал с «Верую»...

Зимами он исчезал. Может быть, уходил вниз по Волге к тёплой Астрахани, а, может, переживал холода у кого-нибудь из своих соучеников по детскому хору, широко раскиданных регентами и псаломщиками по приходам и многочисленным монастырькам этой удивительно духовно горячей местности. К его неожиданным появлениям и пропажам привыкли, ждали – не ждали, но встречали всегда душевно. Всегда только сам выбирая место постоя, ел он мало и без мяса, да, лишь когда что-нибудь из его одежды окончательно ветшало, принимал в дар портки или рубаху, обязательно неновые. Проведя в одном месте два-три музыкальных вечера, опять уходил в неизвестно куда и на сколько, беря с собой только каравай хлеба.

Его и любили и, как всех юродствующих, немного побаивались. Старались подмечать: к чему его постой у того или иного хозяина – к добру или худу? А у кого он примет одежду –

прибавляется ли тому богатства и удачи? Хотелось верить, что так. Эти домыслы вносили даже некий неуют в отношения соседей: а не приманивают ли те «счастье» чем-нибудь к себе? Но точно ничего сказать никто не мог. Постоялец ел, спал, молился. Вроде всё как у всех. Укоряло привечавших хозяев лишь длиннущее молитвенное правило музыканта – ночные монашеская «пятисолица» и кафизма.

Борода у Гапони, – а то был, конечно, он, – почти не росла, так, пушок под острым подбородком. А вот прямые белесые, с чуть зеленоватым отливом волосы, отродясь, похоже, не стриженные, пышно и тяжко опускались по спине ниже пояса. Это была его особая тайна, особая верига, и все понимали и не смеялись необычному для мирянина виду. Он очень любил, когда перед «концертом» девки садили его в свой круг и расчёсывали. Девки протяжно пели, Гапоня что-то подмыкивал на своём невнятном языке, а по его щекам от удовольствия катились мелкие быстрые слёзы...

На входе в Рубское путник был разом замечен местной ребяtnей и собаками. С лаем и криками они сбегались с ближних и дальних дворов и окружали гостя всеобщим восторгом. Музыкант улыбался, заикасто мычал, гладил малышню по выгоревшим головёнкам, но ходу не сбавлял. Легко поднявшись на крутой косогор, он поравнялся с белёной кирпичной церковной калиткой. Сняв со спины котомку с фисгармонией, он нежно поставил её в траву и истово, широко, с поясными поклонами трижды перекрестился образу Спасителя над высокими окованными медными полосами дверьми в притвор храма. На двери висел огромный амбарный замок, но из пристроенной к колокольне справа деревянной сторожки уже поспешал, смешно, словно ёжик, переваливаясь на своих коротких ножках, карлик, шестидесятилетний Вася-маленький. Когда Гапоня останавливался в Рубском, он всегда ночевал только у Васи-маленького, совмещавшего караул церкви с пономарством. Рассказывали: когда Васе уже исполнилось семь лет, он продолжал причащаться без исповеди. И вот однажды мальчик, сразу же после принятия причастия, вышел на улицу. И его вырвало. А неведомо откуда подскочившая чёрная собака сожрала святые дары. С тех пор Вася не рос, а кривился: бес связал. Голова и руки у него стали как у взрослого, а согнутое тельце и ноги остались совсем крохотные.

Сторож, даже не здороваясь, сразу стал отмыкать храм. Дёрнул тяжеленную половинку, и из-за двери сильно дохнуло приятной в летний день затенённой прохладой. Гапоня, прижав к груди свою бесценную котомку, осторожно вошёл внутрь притвора, а детвора, задирая обидными словами гаркнувшего на них Васю-маленького, понесла вест в село.

Приложившись, после земных метаний, к выставленной на аналой праздничной иконе, Гапоня долго крестился и кланялся иконостасу, киотам, большому Распятию и панихидному столу. Сторож терпеливо стоял в дверях. Да и куда торопиться? – скоро уж должны были прийти бабы-уборщицы и диакон, чтобы готовить храм к предпраздничной всенощной. Дело Васи было только прибраться в пономарке, достать и протереть подсвечники, разжечь угли для кадила. Дьякон сам ревниво готовил алтарь и ризницу, буквально следуя правилу не впускать в святилище увечных. О чём с таким спорить? Предельный буквоед, за что и сослан сюда из Макарьева упрямо и не вовремя обличаемым за малейшее отступление от правил начальством. И засиделся в дьяконах, чрез эти свои неумеренные начитанность и рвение.

Вечером, после церковной службы и дойки, состоялось выступление. Обширный, красного кирпича амбар Силуана Варова был битком набит. Многие селяне, отстояв всенощную, даже в дома не заходили, а сразу собрались «на музыку» в своих, согласно достатку, праздничных нарядах. Красно-малиновые рубахи, чёрные и рыжие поддёвки, тёмно-синие с росшивью сарафаны пёстро пересыпали белые одежды стариков и детей. И на скамьях рассаживались опять же из уважения и зажиточности, опуская передний ряд – для прихода огромного батюшкиного семейства и бездетного – «сам-двоих» – старосты. Бабы лузгали семечки и ворковали вполголоса. Дети крутились на полу, то вбегая, то выбегая на «воздух». В самом амбаре не курили, но зато у отворённых настёж ворот дым висел сизым облаком. Тут проходило стихийное мужицкое собрание, обсуждались вести и слухи с германской войны, найденный намедни в лесу неизвестный висельник и предстоящие покосы. В сторонке девки чесали волосы Гапоне, а парни задирали их беззлобно, подговариваясь в ночь на кладбище, смотреть где зацветёт папоротник. Но вот подошёл батюшка, сигарки разом затоптали, разобрались с местами и попритихли. Гапоня

посидел перед инструментом, резко откинул волосы и нажал на педаль.... Вставали миром и слушали, подпевая, на ногах дважды: на «Верую» и «Боже Царя храни»...

Распроводив девок, хулиганить парни начали не с самого края: самой дальней стояла закосившаяся избушка бабки Федулки, местной колдуньи. Они только издали, затаясь, посмотрели, как из её трубы валил густой дым, а за щелястой ставней бродил огонёк. Говорить, а уж тем более поминать имя колдуньи в эту пору было нельзя – она об этом сразу бы узнала. Поэтому также не досталось и её ближним соседям. Пройдя шумным воющим и свистящим, срывающим с петель калитки вихрем по нижней улице, они, уже тихо, заломив прихваченным по дороге чьим-то ломом замок варовского амбара, по одному крадучись пронырнули в его темноту. Хотелось учудить чего-нибудь особенное, такое, какого ещё не было. О чём бы долго потом говорили во всей округе, что вышло бы своим озорством за пределы их села. Перевернули лавки, прошарили углы – но фисгармонию Гапонька унёс с собой в сторожку. Откатив подальше в поле пару телег и, наглухо заложив старостовы ворота поленницей, парни оставили остальные обычные иванокупальские шалости на откуп малышне, а сами двинулись к далеко белеющей под почти полной луной церкви. Около ограды постояли, подождали, пока посланные «молодые» не вернутся с четвертной бутылью самогона. Потом, давая смех, стали негромко стучать в калитку.

Маленький Вася был пьяницей, и смешно засуетился по своей переполненной неожиданными гостями каморке. Он топтал вокруг стола, выкладывая хлеб, лук, притворно громко охая из-за того, что завтра придётся отказаться от просфоры. А дьякон, злыдень, обязательно учует перегар и наябедничает настоятелю. Парни дружно и фальшиво утешали: ночь, мол, такая, что и поседеть от страха недолго. Тем более, здесь, недалеко от кладбища. Столько жути вокруг. Вася скоренько соглашался, сам вспоминая подобающие истории. А вот Гапоня упирался, только мыча и заикаясь, отодвигал стакан, с извиняющейся улыбкой заглядывал в лица, вдруг окружившие его с таким вниманием. Он собирался назавтра причаститься и уже прочитал правило последования. Парни не отступали, он тоже. И тут в общий хор уговоров властно вошёл подхмелевший уже хозяин. Он вдруг присвистнул на галдевших вразнобой гостей и в наступившей тишине предложил выпить за великий, равноангельский гапонин талант к музыке, за его небесное призвание нести радость крестьянствующим, тяжело трудящимся людям, и за то, как его мир в ответ любит, знает и ждёт на всех четырёх сторонах – выпить вместе и стоя. Все разом поднялись, разом же немного хмурясь, подняли разномастную посуду, и так, молча, ожидающе смотрели на то, как Гапоня, побледнев от такой чести, неловко вышел из угла, принял от Васи кружку и поклонился.

Сильно запьянел он уже со второй, но показать, как складывается и раскладывается фисгармония, отказывался отчаянно. Ещё после двух кружек заснул: вдруг резко привстал из-за стола, сильно качнулся и со всего роста завалился в угол, закрыв собой крепко охваченный руками инструмент. Ни одна из настойчивых и злых попыток вытащить из-под него фисгармонию не удалась. Он, не размыкая глаз, только стонал, слюняво кривя рот, а длинные сухие пальцы мёртво держали котомку. Когда самогон кончился, удовлетворённо захрапел на своих коротеньких полатах и хозяин сторожки. Гости сами были хорошо навеселе, но никого своих не оставили, а, бросив на раззадор дьякону калитку настежь раскрытой, дружно качающейся ватагой двинулись в село.

Было уже почти светло, небо на востоке от смутно-голубого заготовилось стать мягко-розовым, и встречающее их село слепо томилось черными на фоне неба зубцами изб и сараев. От озера в поле выплывали валы бледного тумана, в отсыревшем воздухе молчали даже цикады, только в тальниках чуть потрескивал разбуженный чем-то чирок. Тишина была просто осязаемой. Тёплая, не остывающая за короткие ночи земля податливо заглушала шаги. Вошли незамеченными – во всех домах крепко спали. Стали прощаться. Но вдруг двое самых трезвых и недовольных, вроде и не сговариваясь, отделились от компании, и торопливо, почти бегом вернулись в сторожку. У самого входа над косяком висели на гвозде большие чёрные овечьи ножницы. Склонившись над Гапоней, в несколько сильных жимков, неровными хватками парни срезали под самые корни его волосы и положили около Васи-маленького. Ножницы тоже всунули ему в руку. И тут, сначала издали, а потом и поблизости повсюду закричали петухи.

Больше Гапониных концертов не слышал никто и никогда. Говорят, он в тот день взхлёб рыдал, сжимая в руках обрезанные волосы, крестясь и указывая пальцем в небо, что-то пытался прокричать подходившим и подъезжавшим семьями на подводах к престольному празднику прихожанам окружающих деревень, но его никто не мог понять. И он пропал навсегда....

Куда? Ну, не в разбойники же ушёл! Много монастырей и скитов на нижней Волге.... А фисгармония нашлась у крыльца дома архимандрита. И никто не мог внятно объяснить: откуда она незаметно взялась за высоким забором с крепкими воротами, в глубине двора, днём охраняемого бдительным и строгим отцом Никоном, а ночью свободно рыскающими волкодавами?

ДНЕВНИК ОФИЦЕРА

В приграничной Бурятии, посреди завораживающих своей сказочной красотой – до долго потом фиолетово-синих и лилово-серебряных сновидений, – изломов Восточных Саян, широко и мощно пролегает знаменитая Тункинская долина. На верхнем краю этой растянувшейся на полторы сотни километров естественной теплицы, около самой стенки Восточного хребта затерялся крохотный курорт местного республиканского значения. Аршан – это несколько гектар слегка окультуренной садами и огородами земли посреди буйства чистейшей горной тайги, пяток корпусов сталинской застройки и восемь гипсовых Ленинов, со всех перекрёстков санаторских дорожек противоречиво указывающих рукой в разных направлениях. Главное здесь – целебные источники. Голубые, зелёные и розовые соли пластами выдавливаются из-под нависшей скалы, пропуская сквозь себя горячие и прохладные родники. Ампирная беседка, керамические кружки с носиками-трубочками. Совминовские бурятские дамы, после процедур парочками фланирующие в вечерних платьях среди коровьих лепёшек и томно дожидаящиеся вечерних танцев с редкими гастритными кавалерами.

В это очаровывающее неиспорченно дикой красоты место нас заманили каскад из пятнадцати водопадов и желание жены показать мне легенды своего детства. Остановились мы в небольшом деревянном пустующем бараке, горделиво обозванном «Домом отдыха творческих работников театров Республики». Едва освоившись в сырой, но чистенькой комнате и заказав хозяйке гостиницы ужин, мы безо всякой подготовки отправились знакомиться с горами.

Две голые острые вершины ужасающими размерами нависли над санаторием, до пены пережав яростно ревушую от прошедших обильных дождей Кынгаргу. Все мосты были смыты недавним наводнением, и перейти на противоположный берег, по которому пролегал тропка к перевалу, можно было только по двум сваленным навстречу друг другу стволам сосен. Первый раз это было впечатляюще. Далее узкая, со свежими осыпями, тропинка возводила вдоль крутого склона всё ужимающегося ущелья. Из-за шума зеленоватой, как бутылочное стекло, под белой пеной бешеных водоворотов реки невозможно было охать и ахать, и мы только поминутно переглядывались, с щенячьим восторгом тыкая пальцами то в совершенно отвесную слоистую гранитную стену, в сотню метров нависшую над потоком с того берега, то в крохотные розовые ландыши, цветущие под серовато-лиловыми шляпами неведомых грибов. После двухчасового подъёма, вновь перейдя на левый берег по переброшённому на пятиметровой высоте уже одинокому бревну, мы оказались в широкой округлой лощинке, сплошь выложенной одинаковыми плоскими камнями из расслоившегося шифера. Здесь река разделялась на несколько рукавов и, немного поуспокоилась, пофыркивая, ровно щебетала на солнышке. По ближнему рукаву быстро плыл сапог. Неожиданно для самого себя я шагнул прямо в напористую ледяную воду и поймал его. Это был достаточно новый резиновый сапог сорок второго размера. Через несколько мгновений из-за поворота показался человек. Невысокий, очень смуглый шестидесятилетний мужчина с давно неподстригаемой седой бородой. Одетый в старую солдатскую форму и белую панаму, он был обут только левой ногой, и, увидев мою находку, издали широко заулыбался нам, глубоко морщась лицом.

Странное это было лицо, не имеющее никаких особых примет, за исключением глубоких морщин. Просто светло-редкие серые волосы, глубокие серые глаза, чуть мелковатые черты среднерусского лица. Говорил он ровно, явно не по-прибайкальски – без такого местного чередования ритмов. Запоминалась только как бы чуток заглядывающая снизу, и от этого немного

собачья, улыбка. А вот руки были примечательные: распухшие, ярко красные, со множеством мелких ссадин и царапин. Он всё прятал их за спиной и постоянно разминал, массируя. Через полчаса мы были совершенными друзьями, и, в знак благодарности за спасение утопавшего сапога, нам были указаны редкие на этой стороне хребта пятачковые поросли дурманно пахнущей сагандали. Сидя на корточках, мы щипали мелкие веточки стелящегося по горячим валунам кустарника и пьянели от его солнечно смолистого ни с чем не сравнимого аромата. Беседа вертелась в основном вокруг Москвы, где когда-то наш новый знакомый и моя жена учились, а я просто хипповал по Арбату. У нас не нашлось общих знакомых среди людей, но были знакомые районы, улицы и даже дома. А когда он узнал, что мы с ним почти в одно время ещё по паре лет прожили в Кишинёве, и, тем более, я работал на реставрации Сынжерского храма, – то его немного заискивающая улыбка больше просто не исчезала. И, прощаясь, мы сговорились назавтра встретиться здесь, чтобы вместе посмотреть и отснять на слайды знаменитый водопадный каскад, ради которого мы и забрались в приграничную глушь.

В гостинице на запах свежей сагандали сразу же появилась хозяйка. За десяток веточек она принесла нам молока, ещё за десяток – свежайших лепёшек. Плечистая, мужиковатая, она двигалась чуть замедленно, но удивительно экономно, ничего потом не переделывая и не поправляя. Встав грузной кариатидой в проёме двери, она одними глазами, не шевелясь, с нескрываемым интересом следила за тем, как мы разбираем и раскладываем свои вещи. Особенно её интриговал мой этюдник. Убедившись, что уходить она не собирается, мы, ради какой-либо пользы от её стояния, стали задавать разные вопросы, на которые она отвечала без эмоций, но обстоятельно, забавно вдумчиво переспрашивая каждый вопрос, словно запоминая.

- Кто этот Григорий? А чудак. Такой же, как и я. Чудак-одиночка. Я ведь тут одна сама за себя. А здесь таким нельзя. Почему «нельзя»? А потому, что здесь либо бурятю нужно быть, либо семейским. Это старообрядцы наши так называются. Беспоповцы. Особенно, если ты на курорте какую-либо должность занимаешь. Как я. Причём должность? А это место у бурят святым считается. Видали, сколько тряпочек около источника по кустам навешано? Жертвы их духам. Тут всё должно только с позволения шаманов делаться. Они, шаманы, всё всем определяют. Кроме, конечно, того, что семейские для себя робят. Семейские ведь строго по своим законам живут, от мира закрыто. Друг за дружку стеной стоят, до смерти, вот их буряты и боятся. Но, а я сама по себе, как дуб в чистом поле. Никому не кланяюсь. И директором числюсь. Что за это бывает? В начале пугают, потом денег на откупную сулят. Меня так и поджигали. Затем сына до больницы избили. А я взяла лопату и переломала этим киллерам плоскорылым руки и ноги. Сама. Да, кто ж за меня заступится? Я у них потом четыре суда выиграла – и это ведь при всём том, что и прокурор, и судья – буряты! Вот так-то.... Григорий? Вот и этот ваш Григорий тоже непокорный оказался. Только я люблю на людях быть, на обществе, чтоб артисты ко мне приезжали, писатели. Музыкантов люблю. А он бирюк. Откуда? Точно не скажу. Пришёл сюда три года назад, впервой в землянке зимовал у родника. Сейчас заимку срубил. Как к нему относятся? Обычно. И пасеку ему разорили, и собак потравили. Но терпит, всё терпит. Да уж, кто как судит, а я слыхала, будто он тут после войны в конвойке служил. Тут, выше в горах золото искали, шахты рыли. Заключённые, конечно. Вот он их и охранял. И, якобы, когда был у них из лагеря массовый побег, он самолично некоторых убил. Застрелил, а теперь, когда на пенсию вышел, так вот и приехал опять сюда. Захотел на том самом месте, где он своих зеков порешил, часовню поставить. Грехи замолить, значит. Почему один? Так он никонианин, и наши старoverы его на дух не принимают. А бурятам эта его затея и вообще как кол в горло. Чудак, одним словом. Как и я.

Ночью долго не удавалось заснуть. Непривычно тревожно за окном шумела река, издали гулко раскатывались частые в этих местах обвалы. Перед, всё равно – открытыми или закрытыми – глазами плыли и плыли увиденные днём в ущелье картины. Было сыро и душно.

На следующее утро мы встретились в оговоренном месте лощинки с рукавами и по одному только Георгию известной козьей тропке за час перешли седловину между двух относительно невысоких вершин, значительно сократив путь к искомым водопадам. Спустившись, вернее, скатившись на пятой точке по осыпи мелкого щебня к сделавшей без нас большую петлю Кынгарге, мы скорым маршем ещё с километр поднялись по её пологому здесь берегу и остолбенели от непередаваемой красоты. За полчаса я расщёлкал все четыре плёнки, а красота всё

только нарастала. Я проклинал своё бессилие – никакими красками потом невозможно будет передать увиденное, нет, впечатлённое, впечатанное в душу! О, эти звенящие живые радуги...

Разложив прихваченную с собой еду на плоском огромном валуне, мы, развалясь как древние греки, неторопливо беседовали под шум горного потока, кристально-ледяной до ломоты зубов водой которого и запивали чёрный, немного липкий хлеб, тонко нарезанное жёлтое сало и мелкие огурчики. Меж близких со всех сторон вершин ветер иногда наносил пронзительно белое на синем облако. Но солнце палило, и влажная от мелкой водяной пыли одежда на спинах становилась горячей. Попеременно пахло пижмой и лавандой. Разговор в основном вился вокруг нас, наших профессий. Судьбу Георгия мы, естественно, обходили, как могли. Но круги беседы как-то сами сужались, произвольно сползая на местное. Он слегка посопротивлялся, пытаюсь укрыться в абстрактных, отвлечённых, бесплотных литературных изысках. Но, как всякий давно одинокий человек, встретивший не связанных с его прошлым и будущим случайных собеседников, сам же невольно начал исповедоваться:

- Вот, что есть само определение «прекрасного»? Откуда оно? Почему так всем одинаково понятно? Ведь это даже не монополия только человека, его интеллекта. Нет, вы посмотрите: почему какая-то птаха для своей подружки поёт так красиво? Почему для обозначения занятой территории и привлечения самки нужна именно красивая мелодия? А не просто громкая или пронзительная? А почему цветы для привлечения насекомых пахнут так сладко? Ведь тоже могли бы просто вонять как-нибудь характерно. И всё. Главное – был бы сигнал. Уж не говорю о лепестках и пёрышках: в чём функциональность гармонии их цветового подбора? Ведь, вроде бы опять, главное здесь – просто продемонстрировать различие видов. И вот, раз есть подающая эту красоту сторона, значит, обязательно есть и её воспринимающая. Скажете: условность философского виденья? Надуманность эстетствующего разума? Ан, нет! Это не ментальное понятие, а астральное, душевное. Понятие красоты присуще, прежде всего, самой Земле – нашей живой матери Земле, а она уже раздаёт это своё понимание красоты всем своим детям. Цветам, пчёлам, птицам и человеку. Откуда Земле дано изначально? Несомненно, свыше. Я здесь в одиночестве многое заново для себя познаю. Многое пересматриваю. Скоро, наверное, до того дойду, что и азбуку буду переучивать. А потом и врождённую рефлексию перепроверю. Глядишь, и доберусь до смысла своей жизни. Своей бестолковой и никчёмной судьбы.

Тут не выдержала жена, и вопрос встал о вере. И более конкретно – о православии. Я, было, сжался, решив, что мы сейчас потеряем интересного собеседника, но ошибся. Георгию словно пробку выбило. Видно у человека сильно наболело, вызрело в одиночестве многое, и он рванулся навстречу безопасно случайным слушателям:

- Что уж тут кружить? Вам, наверное, уже всё про меня порассказали? Ну, так вот, – я на самом деле строю часовню. Там, за этой горкой. И именно православную. Один. И Бог с ними, со старообрядцами, справлюсь. Я ведь со всем сердцем к ним вначале потянулся. По старикам их, по «крёстным» ходил, всё хотел истину найти, понять – в чём суть раскола, суть их на нас обиды. Узнать нечто такое, что, может быть мы, официальная церковь, в этой жизни потеряли, не сумели сохранить и от этого так страдаем. Выведывал, пытал, ждал откровения. Ведь на чём-то же они стоят уже столько лет, не прогибаются перед «духом времени»! Ведь это не восковые фигуры, а живые люди. В чём же секрет такой силы, на чём основан этот их строгий спрос со всего мира, моральное, так сказать, право осуждения окружающих?.. Но ничего такого у них не нашёл. Фундамента правоты – любви, понимаете? Самого главного – христианской всепрощающей любви. Одна гордыня. Средневековая обида. И современная ложь. Как они сами говорят «во спасение». Да, вся их уже вековая стойкость на неприязни и глубочайшем призрении к миру базируется. Безпоповщина – как безотцовщина. Сироты. И не правда, что они не меняются – ещё как! Столько отсебятины за последнее время понапридумывали. Такие апокрифы – ещё то творчество! Я вот спрашивал начётчика Симеона, он здесь самый авторитет, всё священное писание наизусть знает, – «как же вы без священства, без таинств церковных-то спасение души себе мыслите? Ведь Христос не что-нибудь, а именно церковь на Земле учредил». А он в ответ таких басен наговорил, таких историй понарасказывал! Тут тебе Вечный жид и Алексей Михайлович, папа «рымский» и Никон, и Пётр Первый, и Троицкий, и даже Гагарин с Горбачевым в один ком сплетены. Ну и все мы остальные, кто их толка не придерживается, тоже на ад обречены безо всякой надежды. Вот так он меня «просветил», а потом ещё и обругал, как мог, за мои вопросы. Вы разве не знаете?

Семейские – жуткие матершиники, просто жуткие.... Поэтому, Бог даст, закончу к этой зиме задуманное и поеду в Слюдянку. Там у меня батюшка знакомый служит. Я у него на часовню благословлялся, он её и освятить обещал. И отслужить литию на крови невинно убиенных. А там, что Господь положит: сожгут, так сожгут. А, может, и устоит. Может, и после меня хоть какая-то хорошая память людям останется.

Георгий уже не возлежал. Он сидел на коленях, всё время слегка привставая и попеременно близоруко заглядывая нам в лица. От трудно скрываемого волнения его несходящая улыбка своими глубокими морщинами стала похожа на жалобную древнегреческую маску:

- А с бурятами у русских в этих местах отношения просто ножевые. Смешанных браков даже представить себе нельзя, что там – даже после геологов метисов не осталось. Буряты здесь практически не знают лам, они здесь не столько буддисты, сколько шаманисты. Слыхали про религию бон? Тоже на свой лад староверы. Не зря же барон Унгерн именно здесь от красных уходил. Они его за своего бога войны признавали. И сейчас молодёжь Чингисханом бредит. Из благ европейской цивилизации ценят только водку, мотоциклы и ружья. Живопись там, литература или балет просто вне их сознания, как проблемы какой-нибудь Альфа-Центавры. И поэтому, когда вдруг появился посреди них одинокий русский, который с другими русскими не в общине, они даже немного ошалели. Ждали подвоха. Потом присмотрелись, стали понемногу пугать, пробовать на прочность: то стрельнут из тайги в окно, то лаек потравят. Не известно, чем бы дело кончилось, но тут я ненароком с их главным шаманом в санаторской столовой за одним столом оказался. На выборах случай был, когда всех силой, не силой, но понуждали собраться возле урны. Забежал туда, сюда, пенсию получил и решил перекусить по-человечески, цивилизованно, с вилок. Вижу: все столы забиты, а тут человек один сидит. Я и повернул к нему со своим подносом. Кто ж знал, что это сам Бадмаев. Сажусь напротив, здороваюсь, а он на меня даже не смотрит, глаза щёлочки, лицо огромное, каменное. Пробормотал он свои заклинания, покормил, как у них полагается, своих духов брызгами с пальцев, и начал есть. А меня что дёрнуло? Только я тоже вдруг перекрестился сам и перекрестил стол. И Бадмаев подавился. Стал задыхаться, покраснел и упал под стол. Хорошо в зале врачи были, откачали. Но все буряты вокруг поняли: мои «покровители» посильнее его. И с тех пор не трогают. Боятся, что заколдую, пока, по крайней мере боятся.... Вообще, это ещё одна великая ложь, что буддизм – мирная религия. Никакой этой пресловутой веротерпимости к другим у них нет, христиан они люто ненавидят, люто...

Обратно двигались медленно, нам с непривычки тяжело давался сыпучий подъём. Поэтому наверху седловины опять отдыхали, восторженно озираясь по сторонам на широко открывающиеся серо-голубые дали каменных гребней. А Георгий не замолкал, доставая из своих тайников новые и новые откровения:

- Вот вы, оказывается, тоже в Молдавии были, и тоже в Кишинёве. А у меня там как раз самый главный перелом в жизни произошёл. То есть, я ещё долго внешне продолжал свою обычную жизнь, но именно там во мне родился какой-то новый «я», который постепенно рос и вытеснял прежнего. Пока однажды я вслух себе не сказал: я и есть этот «я»! Странно звучит? Но понятно.... Я ведь офицер запаса. И не просто офицер, а контрразведчик, особист. Особо доверенный боец невидимого фронта с империализмом. С любой чуждой социализму идеологией. А в Кишинёве, и именно через Сынжеру, к вере пришёл. Это было в 1976 году. Да, я тогда закончил академию и угодил в Бессарабскую ссылку. Но моя невольная «экскурсия по Пушкинским местам» всё же гораздо была приятней, чем светившая «по Ленинским» в Сибири. Дело получилось так: моего шефа из Саратова, где после училища несколько лет служил и я, забрали преподавать в Москву, и он через год вытянул меня к себе на учёбу, с вариантом там и остаться. Да, Москва, Москва. Как много в этом звуке.... Человеку абсолютно без родственных связей шанс сделать в столице карьеру был один – диплом с отличием. Вот я и старался, грузил себя по полной. Режим расписал по минутам, тянул как олимпиец, без единой поблажки. Но ни одной четвёрки за всё время себе не позволил. Только «отлично». Личная жизнь отсутствовала полностью. Что делала в это время моя супруга, меня совершенно не интересовало. То есть, мне казалась, что она, как жена офицера, просто обязана обеспечить мой тыл в такое напряжённое

время. Хозяйство и ребёнок, опять же, как мне казалось, должны были быть на её плечах, пока я не сделаю этот свой прорыв. Мы же вместе мечтали о Москве....

Короче, когда я впервые обнаружил у нас в общежитской комнате странную самопальную книжонку про какую-то чайку, то не обратил на неё ровно никакого внимания. Потом самиздат стал появляться всё чаще: «Письмена» Рериха, Кришнамути, Папюс. Появилась и некая весьма ведьмообразная подружка, вся в каких-то огромных бутафорских перстнях, которая упорно со мной не разговаривала. А затем я увидел на столике жены фотографию смуглявого волосатика. Попробовал походя обсмеять её позднее увлечение рок-ин-ролом, но вдруг получил такой горячий и злобный отпор, что невольно заинтересовался. Выяснил, что это фотография никакого не певца, а «учителя», и что она уже с полгода ходит на занятия по релаксационной гимнастике, саморегулированию и йоге.... Виноват, конечно, но я запаниковал и сорвался. Мне бы нужно было спокойно попытаться оценить сложившуюся обстановку, найти новые формы для доверительного разговора – ведь не враг же был передо мной, а всё ещё любимая женщина! Но я был тогда на пределе, а эти её дурацкие игры с диссидентствующими экстрасенсами могли стоить мне всей карьеры. Ведь кто мог подумать в те времена: жена особиста – и йога! Это было равносильно предательству Родины. Посему я и сорвался, решил разом всё отсечь. А отсёк только себя. Она на какое-то время затаилась, попрятала всё от меня. Тем более это, с моей-то занятостью, было нетрудно. А когда я пошёл на защиту, то вдруг заявила о разводе. Дочь ею предварительно была уже отправлена к тёще. Меня как лавой обожгло. До угля, до пепла. В общем, всё разом рухнуло, всё вмиг стало бессмысленным. Даже не карьера, а сама жизнь.... Лучшее, что мог сделать для меня шеф, это был Кишинёв. А то я вообще мог бы поплёвывать с какого-нибудь бережка в море Лаптевых. Представляете, как я, убеждённый и научно подкованный материалист, тогда относился ко всем религиям без разбора...

В офицерском общежитии военного городка я оказался соседом такого же недавно разведённого подполковника. Я тогда майором был. Первое время, пока принимал дела от предшественника, знакомился с оперативной обстановкой, было не до знакомств. Однако рано или поздно появились и свободные часы. Ну, понятно, дело холостяцкое. Но ведь и не молодое – с юнцами по девчонкам, с лейтенантами, мне уже неудобно бегать было. Вот я и стал к соседу удочку подбрасывать: в ресторан, там, на пляж вместе прошвырнуться. Причём в почти приказном порядке: «ты, мол, город знаешь, вот и веди». В его душевные проблемы я тогда погружаться и не собирался. Опять вспомнить время нужно – особисту просто так в лоб в дружбе не отказывали, за это можно было перед пенсией и в Забайкальский округ загреметь. Поэтому наш интерес ценили, заигрывали по любому поводу. Но вдруг он от меня и так, и сяк стал откручиваться, всё какие-то уважительные причины находил. А меня, как только понял, что он мутит, скрывает что-то, словно заело: ах, ты, ну, погоди, думаю, всё равно разожму. И начал разжимать. Но никак не получалось. Уже и в лоб ему смеялся: «Может у тебя с этим делом что не в порядке? Вот жена и сбежала». Смотрел, как он кривится от злости, но терпит. Дальше тогда больше, уже и при свидетелях стал подкалывать, хамил, как мог. Понятно, это я свою боль от развода на нём отыгрывал. Да так его безответностью увлёкся, что даже забывать стал, с чего цепляться начал. Ну и всё-таки достал его в конце концов. Он мне и говорит: «Одевайся в цивильное, пойдём в один погребок на Ленина». – «Дегустационный? Повыше главпочтамта?» – «Угу». – «Замётано!» Выехали в город, прогулялись по центру. Спустились в тот погребок, сели. Он сразу по полной коньяку наливает. Славный, помню, был «Кодру», дорогущий, но густой и тёмный как шоколад, стоил своего. Мы его залпом, как на дуэли. И сразу же по второй. По третьей. И пошли помаленьку откровения. Сидим в подвальчике, пьём молча, а когда, как бы покурить, наверх выходим, то вначале чуть не шёпотом, а затем уже и матом друг руга во весь голос. Матом, конечно, я, а он просто орал. Начали с порядков армии, потом и «повыше» заглянули. Пошумим и опять вниз к молчанию. Но я чувствовал, что политика в нашей беседе – семечки. Вот и давил, давил на все возможные болевые точки, учили всё-таки, пока он не раскололся, чуть не со слезой: «Что ж ты меня, мол, мытаришь? Другого объекта нет? Привязаться не к кому?» – «А чем, спрашиваю, твоя жизнь так особенна, что ты меня в неё впустить не хочешь? Ведь оба мы не одни погоны продырявили, оба с академиями, оба на возрасте бабами брошены и только фотокарточки детей с собой носим! Что тебе от меня скрывать?» – «От тебя всем всегда есть что скрыть». – «Ах, говорю, как ты про КГБ! Вот тебе слово офицера: всё здесь как в могиле!.. Понятно, я, особист, для вас всех как поводок для

собаки.... Ну, а если бы ты на меня, как просто как на собрата по несчастью посмотрел? Мы же с тобой, поди, одни сны смотрим»? Тут он как-то странно, я это потом всё время вспоминал, вдруг трезво посмотрел и говорит тихо-тихо: «Сны мы разные видим. Очень разные». Опять в зальчик спустились. Только теперь уже вино пили. «Негру де пуркар». Потом – снова курить. Тут он и бахнул: «Не могу я вот так просто по девкам ходить. Я в Бога верую». Я и просел. Как, советский офицер, подполковник с Академией – и в Бога?! – «Да как ты можешь? Ты же не бабка с хутора»? Он вдруг захохотал: «Ой, говорит, а тебе и не понять! У тебя же профессия такая: никому и ничему не верить!» Хохоchet не переставая, видимо от страха передо мной истерика началась. А я как петух спросонья: «Профессия у нас одна – служить Родине!» – Он даже каблуками прихлопнул: «Всё теперь? Выяснил мои антисоветские настроения? Можно идти»? Уже отошёл, но задержался и бросил почти через плечо, небрежно так: «Я тебя за слово офицера не держу. Плевать, надо, так стучи. Надоело вас всех бояться, всё равно узнали бы».

Спустился я один и пью дальше. Дело к закрытию, все посетители уже повышли, а я пью. Цежу по капельке. Официант, потом бармен поупрашивали и вызвали милицейский наряд. Подваливают ко мне два молоденьких молдавана. И форма-то на них, ну прямо сияет. Каждая пуговка, каждая лычка начищена. Да стоит ли про молдавских милиционеров объяснять? Счастливые, сейчас, думают, мы этому русскому оккупанту салазки загнём. Для верности ко мне даже не по-молдавски, а по-румынски обращаются. Чтоб уж наверняка ничего не понял. Тогда дубинок ещё не полагалось, так они наручниками для устрашения перед глазами побрякивают. Я всё пью. Только когда один меня за плечо схватил, я его на пол бросил, а второму в нос корочки сунул. Бедняга как прочитал, так на стену запрыгнул. И действительно русский язык забыл, только своё «мэй, мэй, мэй» лепечет. Такая вот власть у нас была.... Я ведь к ней привык, другого отношения к себе и не ожидал. И как-то даже не пытался анализировать: что ты сам чувствуешь от общения с человеком, который полностью от тебя зависит? Полностью – не карьерой только, не деньгами, а собственно всей своей жизнью. У меня же в службе целая сеть сексотов состояла. Фиг его знает, но нужно действительно убеждённо видеть себя только винтиком в государственной машине, абсолютно безличным функционером, чётко осознавать давление вышележащих задач. А иначе тебя такая абсолютная власть разнесёт, как глубоководную рыбу на поверхности. Но, если вдуматься в природу этого давления: это же страх, элементарный, примитивный страх! И источник этого страха – компромат, то есть тайная грязь. Грех, по церковному...

Проснулся утром в ужасе: ничего не забыл. Всё, всё как есть помню. Катастрофа. Ведь дело в том, что особист никогда на отдыхе не бывает. На рыбалке ли, на свадьбе ли, в бане – он всегда на службе. Есть такая обязательная для госбезопасности вещь – «дневник офицера» называется. Ты должен заполнять его на каждый день. И отдавать периодически на проверку, как школьник. А в нём обязательно фиксировать все встречи, все события и разговоры. Вплоть до интима. Ибо всегда нужно ждать встречной проверки или провокации от другого сотрудника.... Вот проснулся я в то утро и застрял со своей тошнотой и головной болью как витязь на распутье: а вдруг это и есть проверка? Наверняка ведь, после того, что с моей женой произошло, решили подбросить мне близкую ситуацию, даже не особенно утруждаясь достоверностью: вот он и сосед по общежитию, и разведанный.... Ну, а с другой стороны, о чём они там думали, когда такую залепуху клеили: как может взрослый, высокообразованный человек, коммунист, и вдруг – верить? Во что? В бабкины сказки? Нет, слишком всё вчерашнее казалось фантастичным. И вдруг я совершенно для себя неожиданно соврал. Написал: «Пили. Разговор был о женщинах». Слишком всё фантастично было для проверки: подполковник и вера. И откровенность на первом же разговоре.

День проходит, второй, третий. Подполковник со мной только сухо здоровается. Вот я ему как-то опять дорогу перегородил и говорю: «Пойдём в тот подвальчик ещё раз?» А он зло: «Что, задание получил? Вербовать меня будешь?» – «Пойдём, повторяю, в штатском. Я тебе за эти слова там морду набью». Он аж позеленел: «С удовольствием»... Ну, опять тот же сценарий: пьём молча, курим громко. Только вот действительно, у наших разговоров всё, даже эта самая политика, каким-то вдруг неожиданным боком показывалась: я про коррупцию, а он про смертную память, я про гарвардский проект, а он про смысл личности. И всё это непривычно для меня вдруг раскрываться стало, не так, как по учебникам. Я и взмолился: «Достал ты меня, говорю, совершенно достал. Не укладывается всё это у меня в голове. Двадцатый век – и религия. Покажи, как такое может быть? Я же достаточно книжек и про христианство, и про мусульманство, и про

буддизм прочитал. Был повод.... Как, как в это можно верить?! Покажи мне «это» – эту твою веру, какая она? С чем её едят?» – «Это тебе нашу «цепочку» выявить надо? Захотел за раскрытие антисоветского заговора орден получить и в Москву вернуться?» – Тут я ему и врезал. А он встал, только головой помотал, и без злобы, только с какой-то обречённой тоской: «Ты сам-то понимаешь, чего ты от меня просишь? Это ведь я уже не собой, а другими, близкими мне людьми рискую».... И тут-то меня пробило. Словно чем-то всё вокруг осветило, словно я со стороны увидел, какими-то чужими глазами: каким же я дерьмом для людей представляюсь, если от меня ничего, кроме обиды и горя уже не ждут. Боятся. Ненавидят и боятся. Да я и сам в этом же страхе по самые уши. А может даже и поглубже всех, вот и травлюсь своей желчью. Вспомнил, что и жена при прощании точно как на зверя смотрела. Да что же это за жизнь, в конце-то концов? А, может быть, я и в самом деле уже зверь? Вот стоим мы напротив друг друга, дышим лицо в лицо, и боимся до пота, до истерики. Но подполковник при этом не злится. Почему? А я? Что же я? «Прости, говорю ему, прости меня. Ударь. И дай мне шанс. Вдруг и я человеком смогу быть». А он вдруг перекрестился, – я аж отпрянул, в первый раз так вот близко от меня истовое крестное знамение совершалось, – и говорит: «Хорошо. В воскресенье пораньше будь готов».

После этого я опять записал в дневник: «Пили. Говорили о женщинах».

В воскресенье он часов в шесть стучит ко мне, а я с четырёх на ногах. Оделся как на рыбалку. Он посмотрел на торчащую из пакета катушку складного спиннинга, хмыкнул, но ничего не сказал. Садимся в автобус. Потом в другой. Он только косится, как я профессионально оглядываюсь, но не комментирует. Доехали до конечной. Потопали по серпантину в гору. Вокруг глухие заборы и ни души. А мне всё слезка мерещится. Уже десять раз себя проклял, что напросился. Идём, идём, и вдруг – она, церковь! Бело-розовая, как игрушка.... Вошли в калитку, подполковник спрашивает: «Крещёный?» – «Да откуда я знаю? Скорее всего, нет». – «Но всё равно перекрестись». – «Зачем?» – «А как будто, смеётся, ты на разведке в тылу врага. Для маскировки». Конечно, я чуть было не повернул, но потом всё же понял, что это он свой страх передо мной бравадой перекрывает. Ладно, думаю, поскребись. И возложил на себя впервые крест – слева направо.... Входим в храм, а там росписи, росписи какие! Господи, такая красота, что у меня голова кругом пошла. Это же Пискарев расписывал. Ну, да, кому я всё говорю? Вы же это всё реставрировали. Но я-то тогда ничего про этого художника не знал. Вроде бы на Васнецова похоже, но только всё лёгкое, лиричное. А из-под куполка Христос встречным вопрошающим взглядом просто насквозь пронзает.... Я кое-как рот закрыл, опустил взор – стоит передо мной невысокий священник в подряснике, от своей свечи лампадки зажигает. На меня смотрит неласково, а подполковник ему что-то на ухо нашёптывает. Священник выслушал, кивнул и ушёл в алтарь. Подполковник меня за рукав ввёл на солею, и мы встали на левый пустой клирос. Так, чтобы нас из храма за большим киотом не видно было.

Как шла служба, я не помню. Она же в основном на молдавском языке была. Только помню, что ужасно затекли ноги, и отламывалась поясница. Стоял и ругался про себя: стоило ли ради такого вообще тащиться сюда в законный выходной и при этом так рисковать судьбой? Хоть бы что-нибудь понимать. Или бы хор как-нибудь красиво звучал, а то разваливается по любому поводу. Но вот покошусь на подполковника, а он стоит с закрытыми глазами, весь в струнку вытянулся, и аж светится. Какая-то улыбка блаженная. Нет, думаю, это я, наверное, действительно такой урод, родился без какого-то органа, вот и нечем «это» прочувствовать. Люди вон вокруг ведь чему-то радуются, и искренне. А я как глухой на концерте или слепой на футболе. Совсем от таких мыслей засмурел, даже забылся где стою, как всё вдруг кончилось. Мой поводырь за рукав опять тянет: «Пройдём, пока они отпевать будут. Нас не заметят». Пройдём, так пройдем. Вышли во двор. «А когда, спрашиваю, опять приедем?» – «Что, понравилось? Слава Богу, а то обычно в первый раз всё как-то не так кажется. Это отец Константин для нас «Отче наш» на русском читал». Я молчу. Думаю: понравилось или не понравилось, об этом и речи нет. Главное, что я вообще не понял: что же тут в принципе должно нравиться или не нравиться? И именно этого своего непонимания теперь и не могу теперь оставить – я просто должен «это» понять. Иначе окончательно самоуважение потеряю. «Так когда?» – «В следующее воскресенье готовь свои удочки. И червей накопай потолще». Ну-ну, думаю, а ты оказывается действительно с юмором.

Поехали мы и в то воскресенье, и в следующее. Два года ездили, пока нас судьба не разбросала. Но я так и не понял: от чего он на службе блаженствует? У меня в лучшем случае от

привычки только ноги болеть перестали. И ещё – отец Константин в первые полгода, когда мне особенно тяжело всё было, так со мной ни разу ни о чём и не беседовал. Сухо поздоровается, благословит и уйдёт. Не доверял, долго не доверял. Даже когда крестил, и потом, когда впервые исповедовал, то тоже только выслушивал. И всё. Но главное было не в этом. После первого же посещения храма, мне стало сниться. Это....

Мы почти спустились к реке. Георгий оборвал речь, оглянулся назад. Потом чуток помолчал, склонив голову набок, словно к чему-то прислушивался через плещущий гул перетираемого валунами потока. И продолжал уже без улыбки:

- Им же тогда до гребня только метров пятьдесят оставалось. Их трое, а я один. Я был на противоположном склоне, немного ниже их уровнем. Пока бы спустился, пока поднялся – и следа бы не осталось. Но это я потом осмыслял. А тут, скорее всего, какой-то азарт сработал. Они, мол, надеются уйти, а я по инструкции прав, и мне очень удобно целиться. Помню, всё помню: как планку на прицеле на 100 метров поставил. Как ногу выставил, плечо поднял. Всё как учили. Первого и второго практически сразу насмерть – в позвоночник. А третий, он уже почти на самом верху уже был, на самом верху.... И зачем-то оглянулся.... Я вдруг как в каком-то кинообъективе увидел приближение. У него было бледное в конопушках лицо, и оскаленные зубы. Это лицо мне показалось совсем рядом, совсем. Молодой, наверное, мой ровесник. А выстрел сам произошёл.... Мне же тогда восемнадцать лет было, я первый год служил.

Ну, так вот, и стало мне это лицо через двадцать с лишним лет сниться. Оно только скалилось, стучало зубами и становилось всё больше и больше, пока не заполняло собою всё. А потом вдруг распадалось на сотни, тысячи оскаленных лиц, нет, уже не лиц, а голов! И все они вцеплялись в меня зубами.... По несколько раз в ночь этот кошмар повторялся. Просыпаюсь, вскакиваю весь мокрый, даже наверно с криком. Только успокоюсь, засну, и – опять! Потом уже просто стал бояться ложиться. Дремал сидя, с включённым светом. Смешно? Мне было не до смеха. Днями как варёный, служба побоку, есть не могу, а к вечеру – ужас от неминуемо предстоящих картинок. Хоть психиатрам сдавайся. Но – нет, думаю, это всегда успею. Для начала стал сам за собой следить. Причём уже не исключал из внимания ничего, даже внешне абсурдного. И тут я заметил: когда я в храм в Сынжеру съезжу, то после этого две-три ночи более-менее сплю. Для эксперимента попробовал пропустить одно воскресенье. Результат оказался более чем плачевным, и на следующую литургию я просто пулей летел. До того докатился, что уже перестал конспирацию соблюдать. И в дневник ничего вообще про свои воскресные отлучки даже не писал. Когда спохватился, ахнул: как же меня ни в чём никто до сих пор не заподозрил? Ну, думаю, значит, я уже в такой доверии, что меня и не проверяют. А того сообразить не хватало, что отец Константин, хоть со мной и не разговаривал, а каждый день за меня молился. И эта его молитва и покрывала меня в моих конспиративных оплошностях. Но это я с ним потом, уже перед самым моим отъездом всё прояснил. Тогда уже у нас доверительные беседы пошли.

Мы стояли в той же лощинке, на том же месте, откуда начали своё утреннее путешествие. Нужно было прощаться, и не хотелось. Обменялись адресами. Похвалили погоду, поделились зимними планами. Последний вопрос: а как насчёт блаженства? Радости от церковных служб?

- А, это! Этого, пожалуй, так и не случилось. Выйдя на пенсию, я достаточно поездил. И по святым местам. Семьи-то у меня больше не получилось. Много храмов видел, много священников. Были и росписи, и хоры замечательные. Монахи. Но нет, я не хотел бы смешивать эстетическое наслаждение с тем.... С чем «тем»? Да с тем, что мне так, видимо, и не будет дано почувствовать. То есть, два раза, когда я оказывался на богослужениях, проводимых в Псково-Печёрском монастыре отцом Иоанном Крестьянкиным, я вроде бы и ловил в себе некую необъяснимую сердечную радость. Но можно ли это состояние назвать благодатным? Гадательно. Это могла быть и просто теплота от всеобщего настроения праздника.

А с другой стороны, разве это не благодать: когда ты хоть на немного от страха освобождаешься? Хоть на немного?

ЛЕБЕДИННОЕ ОЗЕРО

- У вас, мирских, зачастую бытует очень упрощённое видение монашества. Вы на нас смотрите, вроде как на уже ангелов или же неких мертвецов. И поведения от нас ждёте соответствующего. – Отец Мемнон ходил по келье слегка сутулясь, низкий, выбеленный прямо по бетону потолок не позволял ему развернуться во весь его немалый рост. На самодельном дощатом столике около ещё шипящего электрического чайника появилась тарелка с сухариками, баночка с кусковым сахаром и две эмалированные кружки. Я рассматривал стены сплошь закрытые книгами, тесно стоящими на таких же самодельных толстенных полках. Это была сыроватая, без окон, проходная комната, приспособленная для приёмов посетителей. За спиной хозяина темнела плотно закрытая дверь, за которую никто и никогда из чужих не входил.

- Ну, чем Бог благословил! – отец Мемнон нараспев прочитал молитовку, широко и тщательно перекрестил стол. Мы сели напротив друг друга.

- А, между прочим, мы, монахи, всё равно ещё люди. Земные, в чём-то грешные, в чём-то нераскаянные. И сердце прихватывает, и поясницу ломит. Хотя и несём свои обеты, постимся, стараемся молиться побольше вас, мирян, но чтобы вот так, разом после пострига стать бесстрастными и умудрёнными, этого не получается. Постриг – дело великое. И, как событие, совершенно не земное. Когда он совершается, вокруг аж воздух от присутствия духов густым становится. Кто хоть раз при этом побыл, тот понимает о чём я. Но для спасения души это не итог, не вход в рай с гарантией, а только переход на новый, как сейчас говорится, уровень трудов и терпения. Да, первый год монашества радостен: и старые грехи отброшены, и благодать особо щедро изливается. Всё легко даётся – и молитва, и пост, и труд. А затем начинается то, что собственно и называется подвигом. Но, опять же, это не тот подвиг, когда с одной гранатой на два танка бросаешься. Всё старанием и терпением по крохам собирается. Копится ото дня на день. И вообще нельзя говорить о каком-либо определённом сроке или конкретной черте, заступив которую, вдруг становишься совершенным. Надо просто и постоянно помнить, вернее даже понуждать себя помнить: на всё воля Божия. На всё. Вот только при этом и пойдут в сердце правильные вопросы, на которые вполне возможны и правильные ответы. Например, почему ты родился в это время, в этом месте и от этих родителей? Почему серый или белый? И почему ты познакомился с Петром Петровичем, но так и не узнал Марию Тимофеевну? И так далее. А из всех этих разбросанных должен собраться самый главный вопрос: в чём о тебе заключается промысел Божий? Именно о тебе. То есть, для чего ты вообще родился? И тут для услышанья ответа необходимо полное доверие к своему Творцу. Полное. Тогда и будет в жизни поменьше путаницы, излишнего самомнения, пусть даже и в виде ложной смиренности. Знаешь ведь, в чём истинное понимание смирения в христианстве? – В осознании самого себя на своём месте. На своём, от рождения тебе только предназначенном. Кем бы ты ни был: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной... Или вот монах.

Монахами, в отличие от солдат, не становятся, а рождаются. Кто-то с юных лет сразу клубок себе ищет, а кто-то может перед тем и жениться, и детей завести. Но это всё равно до поры, до времени. Просто рано или поздно к человеку приходит осознание – кто ты, и всё. Всё. И не по принуждению мира – мол, меня все обижают, а я в ответ уйду в монастырь! Это глупости. Такие «мстители», как к нам приходят, так и уходят, надолго не задерживаются. Наоборот, на постриг сюда влекутся в жажде любви. Но только не земной, не временной, не ограниченной чьей-либо личностью или делом, а самой большой, идеальной. Не человеческой, а Божией. Ибо никакой иной любовью человек не насытится, не упьётся. Но, конечно же, не просто в себе своё предназначение открыть. Тем более после всех коммунистических экспериментов, когда такой разлад не только в обществе, а и в самом человеке произведён. Сердце зовёт, тянет, а голова не понимает, что-то своё фантазирует. Вернее – не своё, а «как у всех». Это естественно, ведь тоже рождаешься как все: с двумя ногами, с двумя ушами, без особых внешних признаков иночества. Только с особой внутренней тоской, неуютностью сердечной. Словно родился и сразу что-то потерял, что-то тебе обязательно нужно будет найти. И рано или поздно понимаешь, что этого искомого тобой на Земле нет. Всё тебе вокруг временно и как чужая одежда. Тогда-то и воздымаешь взор горнему. А там начертано: «Бог есть любовь». Вот как! Вот где он, твой упоительный источник. Отсюда прольётся тебе и молитва, и радостное утоление сердца в обретаемом богообщении, и постриг. И только отсюда отрицание всего, что этому богообщению помешать может: семья, имущество, то

же художество. А мир-то снаружи только аскезу видит, и, не понимая её смысла, её природы, придумывает всякие сказочки. Про ангелов и мертвецов.

Расскажу-ка я тебе одну историю. Былинку про то, как монахи тоже людьми бывали. За давностью лет, авось и можно уже, Бог простит. Ты-то помоложе меня, но, однако, помнишь славные советские времена и весёлые комсомольские годы. Жил я тогда в Новосибирске, рос с матерью без отца. Ситуация вполне социалистическая. Наша однокомнатная квартирка выходила окнами прямо на площадь Станиславского. Это на левом, непрестижном берегу. Район был заводским, заселённым в основном рабочими и итээровцами, трудившимися на множестве когда-то эвакуированных от фашистов европейских предприятиях, за двадцать пять лет очень и очень разросшихся на военных заказах. Тут вперемежку стояли громады сталинского ампира и чёрные двухэтажные деревянные бараки военной поры, за серыми новенькими панельками частный сектор плавно переходил в деревни, а горизонт украшали думы исполинских труб. На них по ночам ещё огоньки горели, чтобы самолёты не зацеплялись. От копоти и пыли кроме тополей у нас никакие деревья не выживали. И от этого было особо странно жить на площади Станиславского или ходить по улице Немировича-Данченко. Притом, что все театры, театральное и хореографическое училища, консерватория и филармония компактно располагались в центре, на противоположном, правом берегу Оби. Я долго недоумевал по этому поводу, пока, будучи уже взрослым, не познакомился с одним архитектором. А отец его тоже был архитектором, и даже главным. Так вот, во время войны и после, отец моего знакомого, по личному заданию Сталина, возглавлял разработку генерального плана застройки Новосибирска. У Сталина была идея переноса столицы, и объяснялась она многими причинами. Во-первых, конечно, военными: Москва оказалась в зоне досягаемости современным ему оружием – самолётами и ракетами. Во-вторых, стратегическими: за Китаем к Советскому Союзу должны были присоединиться Иран, Афганистан и Индия. Ну, и мистическими: коммунисты не переносили «соседства» с Кремлёвскими святынями. План был утверждён, кое-что – оперный театр, вокзал, НИИЖТ, партшкола, совнархоз и ещё несколько «римских» гигантов построены или же начаты. Но потом вождь неожиданно умер, а главного архитектора на многие годы отправили в концлагерь. Всё было забыто: и величественная библиотека с колоннадой, как у храма Афине, и публичные бани с открытыми бассейнами и подвесными садами Семирамиды, и речной порт с маяком как в древней Александрии. Не получилось собрать в одном месте все семь чудес света.

Вот посреди этих, задуманных или уже осуществлённых чудес, была и наша площадь. Её название довольно прозрачно намекало на некую функциональную заданность. И действительно, она предназначалась для массовых театрализованных действий под открытым небом. Но не просто театрализованных, вернее – театрализованных, но не просто. Ведь ритуальность многих коммунистических празднеств уже не нуждается в новых доказательствах. Я имею в виду и планируемые на ней ночные факельные шествия, наподобие фашистских. Да! Вообще, все те физкультурные парады зари построения светлого будущего, тщательно разработанные режиссёром Мейерхольдом, просто переполнены масонской символикой и мистическими знаками. Он же был высоко «посвящённым».

Но ещё в детстве слышал я от мамы, что наша площадь представляет собой самый настоящий театр под открытым небом. Со сценой посередине, где охватывающие её дома являются ярусными ложами, из которых выглянувшие в окна зрители должны были встречать идущие с востока на запад от площади Маркса колонны участников действия, образно раскрывающего смысл того или иного праздника. Представить только: жить в театре! Особенно явственно это воспринималось зимой, когда снег усыпал этот огромный, голубовато освещённый завьюженными фонарями круг, и вся площадь легко представлялась белой сценой. Бывало, я часами смотрел сверху на метания вокруг ламп снежинок, и внутри меня звучала музыка. За это мы и любили свою квартирку, в которую мы заселились прямо из роддома. Да, меня внесли сюда из роддома, где маме и вручили ключ – так что я не успел вкусить радостей общежития в бараке.

У мамы от слова «театр» сердце вообще замирало, ибо она, итээровка с Сибсельмаша, была страстной балетоманшей. Каждое воскресенье, просто в обязательном порядке мама сидела на спектаклях нашего знаменитого оперного театра, часто даже дважды: утром со мной на детском, а вечером на взрослом представлении. Впрочем, зачастую опять-таки со мной. Она постоянно вспоминала о том, как ещё студентками они с подружкой выходили на сцену в мимансе «Ивана

Сусанина». В нашем платяном шкафу, на верхней полке рядом с её полочкой бережно хранились все премьерные программки и билетки за пятнадцать или двадцать лет. Особо в неведомо откуда взявшейся у нас коробке из-под гаванских сигар лежали те же программки, но с автографами Зиминой, Крупениной, Рыхлова. А на стене, над старым с откидывающимися валиками диваном, на котором я спал, висели любовно вырезанные из газет фотографии Крупениной и Гревцова в «Спящей красавице» и «Лебедином озере».

Вообще «Лебединое озеро» в нашей семье было чем-то культовым. Я с самого раннего возраста знал все основные мелодии, рассказывал наизусть либретто и даже, когда оставался в долгие мамыны вторые смены один, то играл только в бой Зигфрида и Ротбарта. Я попеременно надевал или белую рубашку, подпоясанную шарфом, воображая себя принцем с деревянными плечиками вместо арбалета, или накидывал старую огромную шаль с кистями, и, зажав в кулачках широкие концы, размахивал ими как коршун крыльями. В начале сам себе подпевал музыкальные темы, а потом, когда стал постарше и пошёл в школу, то включал складной чемоданчик-проигрыватель, ставил заезженную до икоты пластинку и изображал бескомпромиссную борьбу светлых и тёмных сил. Естественно, Зигфрид в нашей комнате, как и на сцене всегда побеждал.

Нужно сказать, что я рос очень красивым мальчиком. Но я это не для самохвальства говорю, нет, просто для того, чтобы ты мог правильно понять ход моих мыслей того периода, да и атмосферу, что меня окружала. Ибо за эту красоту меня все вокруг любили. Мама, конечно, в первую очередь, но любили и соседи, и воспитатели в детском саду, учителя и одноклассники в школе. При этом любовь окружающих не превращалась в какое-то баловство, потакание в капризах, нет, просто я всегда чувствовал, что меня уважают и всегда ждут чего-то особого, обязательно правильного и разумного в поступках. Это было весьма требовательное восхищение. То есть, постоянно окружённый таким вниманием, я не мог себе позволить ту же мелочность, суетливость, страстность – хотя такого слова в отрицательном смысле в те времена не употребляли. Я не участвовал в хулиганских ватагах, не пил в подъездах, не курил в школьном туалете, но это не раздражало моих сверстников, не вызывало против меня агрессии или насмешек. С учителями отношения тоже были как-то изначально взрослые. В общем, я к своей красоте относился как к некоему предопределению, очень серьёзно, как музыкант или художник к своему таланту. Можно сказать, как избранничеству. Ответственно. Своей ли романтической натурой, помноженной на ущемлённое честолюбие матери-одиночки, или просто в ответ на бесконечность нищенского существования, но мама это «избранничество» умело культивировала. И я рос словно принц крови в изгнании, в ожидании совершенно особого, необычайного, но неминуемо великого будущего. В какой-то степени этому ожиданию способствовало даже само отсутствие отца, которого я никогда не видел даже на фотографии, и поэтому мог фантазировать ничем не стесняясь. Понятно, что при этом и понятия о семье были у меня тоже фантастическими. Как всякий принц, я естественно ждал встречи со своей принцессой. Ибо должен был наступить тот день, когда я найду её, заколдованную злым магом, совершу подвиг и освобожу от чар.

После школы я поступил в НИГАИК. Но не от особой тяги к электричеству, просто в школе хорошо шли математика и физика, а из технических вузов этот был самый близкий к дому. Учиться я сразу стал хорошо, на жизнь взирал активно, и вскоре был выбран комсоргом группы, а потом и курса. Вот тогда-то я и познакомился с Еленой. В первый раз её образ запечатлелся в моей памяти ещё на вступительных, вспышкой мелькнув посреди толпы абитуриентов. Потом пару раз мы встречались в коридорах, но всё мельком, издалека украдкой оглядывая друг друга, а познакомились, когда она сдавала мне взносы своей группы. Я случайно коснулся её руки, и обжёгся. Её тоже ударило электричеством, мы разряжено рассмеялись.... И вдруг в тот же вечер опять сталкиваемся в фойе оперного театра! Я выходил из музея, где всегда любил послушать очередное закулисное воспоминание музейного хозяина, старичка-немца Отто Карловича, и действительно буквально столкнулся с ней, разглядывавшей галерею артистических фотографий. Она – я – и здесь. Да ещё именно на «Лебедином озере»! Это была судьба, и мы сразу приняли это. Даже разговор у нас вдруг пошёл как продолжение непрерываемого, когда-то давно начатого, как будто мы уже были знакомы миллион лет. Помню, мы торопились, перебивали друг друга, прыгали с темы на тему, но абсолютно во всём соглашались. Нам всё вокруг было совершенно одинаково известно. Новое узнавали только друг о друге, но и тут самое приятное: она, оказывается, закончила детскую музыкальную школу, тоже любила Чайковского, обожала его

«Шестую», «Франческу» и, конечно же, «Озеро». В тот вечер её место было в последнем ряду второго яруса, в середине, прямо напротив сцены. А я, пользуясь правом завсегдатая, которого с трёх лет знали все дежурившие в зале старушки, стоял прямо позади её. Как же тогда звучал для нас оркестр! И танцевала молодая Гершунова.

Мы встречались по любой возможности: пораньше приходили в институт, на перерывах между лекциями удивительно разом находили друг друга в укромных от чужих глаз уголках. Осенними, а затем и зимними вечерами до самой ночи гуляли по освещённому новыми яркими фонарями городу. А если мороз не позволял, то сидели у кого-нибудь в общаге, и говорили, говорили, говорили. Познакомились с её родителями, это были очень простые советские люди, тоже заводчане. Отец токарь, мама технолог. Младший брат учился в третьем классе. Они были рады нашей дружбе, во всём нам доверяя. Обычно её мама приглашала меня на воскресный пирог. Потом мы с её папой играли в шахматы. И самыми чудесными были минуты, когда Елена садилась за инструмент. Как она играла? Бог весть, но мне нравилось. А вечером – спектакль. Конечно же, театр был для нас святилищем, ведь это он свёл нас и раскрыл наше душевное созвучие. Когда я провожал её, то, не смотря ни на дождь, ни на мороз, две всегда слишком короткие остановки от Башни до Телецентра мы шли пешком. Прощались в полночь, едва терпя девять часов до утра понедельника – до новой встречи в институте.

А вокруг опять было только всеобщее обожание. Нами любовались преподаватели, нами гордились однокурсники, и все оберегали наши чувства и отношения, как нечто хрупко хрустальное от любой, даже случайной внешней грязи. Действительно, мы были чудесной парой. Помню, что даже когда мы просто шли по улице, встречные прохожие всё время оглядывались нам вслед. Отношения же у нас с Леной были самые чистые, самые целомудренные: мы сразу и просто знали, что придёт время, и мы станем мужем и женой. А пока мы были принц и принцесса. Ведь нам едва-едва исполнилось по восемнадцать.

К лету меня подключили к составлению списков для стройотрядов. Стройотряды, как помнишь, были для студенчества тогда чем-то эпохально значимым и несказанно романтичным. Сколько же с первых тёплых деньков уже кружило в коридорах и аудиториях разговоров и баек старшекурсников, восторгов и анекдотов, да и целенаправленная комсомольская пропаганда работала великолепно. Так что мы, первогодки, ждали трудового лета как чего-то совершенно сказочного: ну как же, мы сами, своими руками построим дома, мосты, пристани, которые потом будут стоять чуть ли не века и прославлять своих создателей. А за это ещё получим свои честно заработанные рубли. Вот мы с Еленой и решили, что я перенесу её фамилию в список моей группы, лето мы проведём вместе, а осенью, как получим расчёт, сыграем свадьбу. Пусть самую скромную, но на собственные деньги, а не на родительские.

Наш отряд отправлялся на самый ближний к городу объект, в райцентр Кольвань, на строительство детского садика. Все выехали как положено, а вот именно меня вдруг да задержали в райкоме комсомола по каким-то недоимкам в проводившемся тогда Ленинском зачёте. Проводив автобус с ребятами, я ещё четыре дня околачивался в городе, ненавидя всё и вся вместе с плавящимся от жары асфальтом, тополёвым пухом и отсутствием горячей воды в кранах. Всё время в райкоме или кого-то не оказывалось, или про меня то забывали, а то вспоминали, но теряли папки. Но я упёрто и терпеливо проламывал все бюрократические баррикады. Наконец-то меня отпустили. Был конец дня, но я, даже не дожидаясь следующего утра, захватив с порога давно уложенные вещи, сразу махнул на автовокзал.

Приехал в райцентр совсем уже затемно, стал расспрашивать редких прохожих про стройку, про то, где ночуют приезжие студенты-стройотрядовцы. Какая-то старушонка очень убеждённо направила меня к пустующему в летние каникулы общежитию местного СПТУ. Почти всё помещение стояло тёмным, только посередине первого этажа горело несколько закрытых бумагой окон. Когда я вошёл в ярко освещённую комнату, то, даже зажмурившись, сразу понял, что здесь жили не наши. Одурачивающая вонь от разбросанной везде сохнувшей рабочей одежды, посередине, покрытый несколькими слоями грязных газет, большой стол, весь заполненный объедками, пустыми консервными банками, бутылками и окурками. Вдоль стен на железных кроватях развалилось с десятков полураздетых кавказцев. Я чуток испугался, хотя в то время и не слыхивалось о национальной розни. Мы, русские, да ещё и в Сибири, уж точно этого не понимали. Но меня, вдруг, в несколько голосов разом, приветствовали очень приветливо. Самый молодой

вскочил, освободил край стола, подложил свежей еды и налил стакан водки. У них, оказывается, был траур – кого-то придавило упавшей трубой, и они третий день не работали, не брились и только пили. Я залпом выпил за умершего налитый под край стакан, и меня сразу сильно развезло. Короче, я там и заночевал, если это можно так назвать. Ночью откуда-то пришли ещё несколько человек, принесли ещё водки. Все что-то шумели на своём языке, иногда немного переводя для меня. Забавно было, ничего не понимая, слушать, как здоровые, мясистые, заросшие до самых глаз чёрной щетиной мужики, неожиданно писклявыми тенорками что-то горячо доказывали друг другу, яростно жестикулируя сильными волосатыми руками. Я всё сильнее хмелел, улыбался всем и испытывал самые дружеские чувства к гостеприимному ингушскому народу. Угомонились только к утру. Перед этим совершенно точно уговорились о том, что я плюю на свой стройотряд, перехожу к ним на освободившееся место у бетономешалки, и на строительстве моста зарабатываю за два месяца столько, сколько бы заработал на детсадике за год. Тогда хватит на самую настоящую свадьбу, на которую я, естественно, и пригласил их всех.

Заработать денег, да ещё столько, сколько «зашибали» «чурки» на своих шабашках, у нас о том и мечтать было трудно. А сколько они зарабатывали? Об этом мы только косвенно могли судить по их дорогой, но небрежной одежде, золотым зубам и новым машинам. Да ещё по оккупированным гостиничным ресторанам и кафе, где вечером русский человек выглядел белой вороной. Понятно, что мне, выросшему на мамину зарплату, рисовались самые радужные картины. Проснувшись после обеда, я опять выпил с кем-то за дружбу и отправился искать своих, чтобы объявить об изменениях личных планов. Когда я наконец-то добрался до стоянки нашего стройотряда, то там никого из ребят не было. Все работали на объекте, но двери были нараспашку. Я бросил рюкзак в мужской комнате, а сам зашёл в девичью, вычислил по вещам Ленину кровать, и лёг поверх одеяла. Хотел сделать сюрприз. И сделал....

Она вошла неожиданно, тяжело прижимая к груди полную трёхлитровую банку молока. Не было видно её лица, только тёмный в проёме контур и белое молоко у груди. И я сразу, как это у нас было обычно, стал как бы продолжать наш непрерываемый разговор. Я говорил и говорил, полупьяный, воодушевлённый гостеприимством новых друзей и их неожиданным щедрым предложением. Я рассказывал о том, какие это хорошие мужики, с какими понятиями чести, умением уважать чужое достоинство. И о том, как я уже пригласил их всех на нашу свадьбу....

Вот, когда я произнёс эти слова, банка из её рук выскользнула и как-то негромко разбилась о пол. Зато громко, пронзительно громко закричала Лена, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Я ничего сразу не понял, только почувствовал какую-то беду. Разбитая банка явно была не в счёт. Пока поднялся, обулся, вышел в коридор, там уже никого не было. Позвал, сначала тихо, потом громче. Вернулся и попытался собрать осколки, порезался, бросил и пошёл её искать. Елены не было нигде. Я обошёл несколько ближних улиц, дворов, даже протрезвел. Встретил наших ребят, возвращающихся со стройки, и с ними опять пришёл в общежитие. Лена не вернулась и к ужину. Почему я не продолжал её искать в ту ночь? Это было какое-то наваждение: я вдруг уснул. Глубоко и беспробудно выключился до самого утра. Утром, понятно, ни о каких кавказских заработках не было и речи, я пошёл на стройку со всеми. Но Лена не вышла на работу. Это было уже что-то. В обед мимо нас пронеслась на мотоциклах кавалькада местной молодёжи. На заднем сиденье одного из «Восходов», крепко обхватив руками рулящего парня, сидела она. Как я дожид до вечера, не объяснить. Весь вечер и всю ночь я бродил по кривым улочкам Колывани, чуть ли не заглядывая в каждое окошко отчего-то очень крохотных, но обязательно двухэтажных домишек. Заслышав где-нибудь мотоциклетный треск, я бежал в ту сторону, но никого уже не заставал.... Утром мне девчонки рассказали, что видели её на танцах в клубе, но только минутку. Когда через пять дней Елена зашла забрать свои вещи, её было не узнать. Опухшее, разъеденное мошкаркой лицо, потрескавшиеся губы, и глаза, страшные, дикие глаза затравленной рыси. Я пытался остановить, силой удерживать её, умолял объяснить: может я в чём перед ней виноват? Но она как бы меня и не видела.

Елена не уехала в город, а крутилась здесь же, каким-то образом став лидером местной шпаны. Они круглыми сутками беспробудно пьянствовали, всё также ревели моторами по ночным улицам, а днями загорали на берегу заболоченной Колыванки. Я ни с кем не разговаривал, работал, хотя, конечно, всё валилось из рук. Ребята у меня ни о чём не спрашивали, как могли, дружно и

тактично поддерживали, даже несколько раз тайно ходили к Елене на переговоры. Но никто у неё ничего не смог выяснить. Так тянулось недели две, пока в одну из таких безумных пьяных ночных гонок она не разбилась, на большой скорости вместе со своим новым дружкой врезавшись на мотоцикле в придорожный столб. Когда её на «скорой» увозили в городскую больницу, она только просила наших девчонок передать мне, что я «опоздал».

Из-за травмы головы и нескольких переломов она взяла «академический», отстала от нашего курса и на год пропала из вида.

А я? Я, конечно, страдал, мучался. Караулил около подъезда. Стоял под окнами.... Её родители жалели меня, но тоже ничего не могли сказать утешительного.... Сейчас трудно объяснить, тем более обвинять или оправдывать себя. Но возраст, наверно, был не тот. И ещё в это время меня стала сильно увлекать политика. Брежневский маразм крепчал, разрушая школьные идеалы, реальность совершенно расходилась с плакатными призывами, светлое будущее всё явственнее откладывалось. Но не для всех конечно. Были где-то и обкомовские дачи, были рядом и блатные детишки. Как такового «заговора» у нас в институте не было, но мы, несколько друзей, получали из Москвы самый разнообразный самиздат и распространяли его в студенческой среде. Ладно, это разговор особый, но за свои фрондёрские взгляды и диссидентские высказывания я был снят с комсоргов, получил строгий выговор с занесением, и потом вообще одно время в воздухе висел вопрос об отчислении из института. Но как-то обошлось. Видимо, кто-то из преподавателей всё же заступился, но мне тогда казалось, что всё решается само собой, и я даже как-то не удосуживался задуматься на эту тему. Сейчас понимаю, что, скорее всего, это был наш проректор Юрий Иванович. Светлой памяти человек.

Так что, когда через год мы с Еленой очень изредка случайно и сталкивались где-нибудь в коридоре, то делали вид, что не замечаем друг друга. Ещё через два она вышла замуж за какого-то курсанта из военно-политического училища.

А ещё через год, уже перед самым моим дипломом, мы с ней всё-таки оказались рядом на чьём-то дне рождения. Общажовская команда пошумела, погремела, но для танцев места не хватало, и все разом, прихватив магнитофон и портвейн, вдруг куда-то пропали, оставив нас в комнате одних. И тогда она, как когда-то в дни нашей дружбы, начала говорить, словно продолжая только что прерванную тему. Совершенно бесстрастным голосом Елена рассказала, что случилось с нами в то лето. Когда я не приехал ни в первый вечер, ни во второй, она немного обиделась и пошла с девчонками в клуб на танцы. В знак протеста. И получилось так, что привыкшая к своей постоянной защищённости, вернее, к защищённости нашей с ней любви со стороны всех окружающих, она совершенно безответственно позволила поухаживать за собой, – даже не понимая, как это можно принимать всерьёз, – молодому тонкоусому красавчику с золотой фиксой и короткими ногами. Она даже открыто потешалась над его писклявыми буратинными комплиментами, и так же, не думая, – не подозревая! – ничего дурного, позволила ему пойти провожать её ночной окраиной. Ведь она была принцессой, моей принцессой для всех!.. Только когда он, зажав мозолистой ладонью рот, завалил её в кусты, до неё стало доходить, что происходит. Конечно, она царапалась, кусалась, плакала и умоляла пощадить, но разве что могло остановить это животное.... А я ведь пил с этим, с расцарапанным лицом! Пил и смеялся....

А затем она просто спасала меня. Она жертвовала собой, честью, именем, чтобы только я не узнал, не догадался, что же с ней произошло. Ведь по мирскому как? – Кровь смывается только кровью. Но что бы смог сделать я, восемнадцатилетний, почти мальчик, с этими ... не знаю, как и сказать, но «людьми» всё же не получается.... Это они бы меня убили. Елена понимала и спасала меня.... Такие долги вовек не отплачиваются.

Вот, рассказал тебе, и снова сердце защемило. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного. Помилуй, Господи, и отпусти всё, чем виновен пред Тобою. И перед людьми. Да, сам теперь видишь, никакие мы, монахи, не ангелы и не мертвецы. Люди мы, грешные и страстные люди. Раз до сих пор вон как прихватывает, а вроде сколько уже лет прошло. Господи помилуй, спаси и сохрани рабу свою Елену, покрой её своей благодатью, защити ото всякого зла. Её и её деток.... А, знаешь, я ведь совершенно недавно только услышал от одного побывавшего у меня музыковеда, что Пётр Ильич писал своё «Лебединое озеро» именно как трагедию. У него в финале принц умирает, только ценой своей смерти выкупая Одетту от злых чар

Ротбарта. Умирает, это совершенно ясно звучит в музыке. Но с пятидесятых годов в СССР зародилась теория бесконфликтного искусства. И финал спектакля изменился в угоду этой теории: «Озеро» пошло со счастливым оптимистичным концом в духе беспроblemного соцреализма.

А Чайковский-то знал, всё знал: без самопожертвования зла не побеждают.

ДЕТСКАЯ МОЛИТВА

Было Оленьке тогда пять лет. Жили они – отец, мать, она и только что народившийся братик – на хуторе, отстоявшем от ближайшей деревни километра на два. Да и деревня та, с громким именем Барское, едва ли насчитывала три десятка дворов, скученных меж болотистых перелесков, заметаемых-засекаемых то белым снегом, то сизыми туманными дождями суровой скудости Русского Севера. Вихлястая, временами непроходимая и непроезжая дорожка подводила к их гордо высокому, с выносным мезонином и резными ставнями дому, прикрывающему единой кровлей стайку, сенник, баню и иные необходимые в самостоятельном хозяйстве постройки. Далее до самого тальникового болота тянулся огород.

Хуторная жизнь их была не судьбой, не некоей роковой случайностью, а личным выбором, упрямой крепостью под флагом непреклонной отцовской воли. Как дед в своё время не поддался на коллективизацию, отрубив за это в Соловках свои четыре года, так и отец, вернувшись со флота, зажил в родовом отрубе самобытно не от жадности, а из-за характера. Чтоб никому не кланяться. Работал смотрителем путей на железнодорожной станции в Сокольском, куда ходил через лес почти пятнадцать вёрст и не жаловался. Работа суточная, с трёхдневным перерывом. Мать следила за детьми, управляла немалое хозяйство и во всём всегда соглашалась с мужем. который, некогда лихой гармонист, желанный во всей округе, с годами растерял заказную весёлость и, чураясь уже любого общества, стал с чужими молчалив до немоты. Однако по субботам обязательно расчехлял зелено-перламутровую, с цветными мехами гармонь и, сев около накрытого ужинного стола, начинал с «подгорной». Застывала в сковороде чуть отклёванная с краю картошка, чернел в эмалированной кружке чаговый чай, а гармонь, вздыхая и эхая, переливалась от «золотых гор» к «сопкам Манчжурии». С матерью напару они пели до глубокой ночи то весёлые, то жалостливые песни, сами себе смеясь и плачась. Оленька так и запомнила их: отец склоняет голову к постукивающим пуговкам-клавишам, чёрный чуб закрывает лицо, а за спиной у него мать, положив руки на раскачивающиеся плечи, стоит и поёт, отстранено глядя куда-то сквозь потолок.

Были ли они верующими? В церковь не ходили, – да и некуда было, но икона, украшенная вологодской вышивкой, в углу на полочке стояла всегда, не взирая ни на какую правящую идеологию. Да ещё мама точно помнила, какой когда церковный праздник, и готовила то пирог, то кулич, а то и гуся. Но не постилась, не молилась и крестилась редко, по особому случаю. Как прижмёт. Это приезжавшая осенью помогать с новорождённым бабушка Нюра выучила с Оленькой «Отче наш» и «Богородице Дево», понарассказывала громким шёпотом перед сном про Боженьку и Николу-угодника, попугала страшным Судом и мытарствами. Но в конце концов отец разворчался, что не надо бы ребёнку «голову морочить», а то в школе пионеры-комсомольцы умучают, и на этом её религиозное образование закончилось.

В тот памятный день отец дежурил на станции. Мороз стоял уже с неделю, воздух потерял всякую влажность и в их крытом, по местному обычаю под одну с домом крышу, дворе то и дело неожиданно страшно лопались поленья в поленицах. Как бичом кто-то щёлкал. И колодец обмёрз так, что ведро не опускалось, приходилось растапливать для хозяйства уличный снег. Мама почти круглые сутки топила печь, однако всё равно в избе зябило, особенно зло поддувало по полу, так что ходили в валенках. Малыша закутали, положили повыше, привалили тулупом. Оля тоже почти весь день просидела на столе, до темноты играя в две свои облезлые куколочки. Скучный был день. Ничем бы не запомнился. Дело посленовогоднее, стемнело уже к пяти, и они ужинали при лампе. Поев, Оленька прилегла на постели рядом с братом, а мать, скрипя налипшим на дверь инеем, долго ещё то и дело выбегала в стайку покормить и подоить корову, перепроверить свиней, овечек и утеплить кур. Уже почти в полночь, в последний раз подкинув в печь пару здоровенных лесин, поплотнее прикрыла подтопок, чтоб горело дольше, и осторожно прилегла к малышам с

краю. Лунный серый свет на полу и стене перебивался быстрыми красными бликами из щёлок вокруг печной дверки. Тикали часы....

Оленька спала, тихо дыша под одеялом, ла, когда её словно кто подкинул. Она присела на кровати и, ничего не понимая, смотрела, как мама, захватив в шаль тихонько заплакавшего братишку, в одной рубашке мечется по дому, сбивая табуреты и странно постанывая. Лишь когда она, сильно ударившись о стену, замерла, Оля услышала, как в сенях кто-то чужой сослепу громко шарит по стенам, гремя пустыми вёдрами и чугунками. Кто там? Вор? Разбойник? Мать опять сдавленно застонала. Вот этот «кто-то» нащупал их оббитую снаружи дерматином дверь и стал дёргать за ручку. Маленький, самокованный крючок запрыгал в петле, но держал, не поддавался. Убедившись в неуступчивости запора, «кто-то» опять начал яростно шарить по совершенно тёмным, заставленным хозяйской и скотской посудой и утварью, сеням. И нашарил топор.

Дверь была толстая, и рубить её из-за низкого потолка было неподручно. Мама уже молча сидела на кровати, одной рукой прижимая младшего, второй гладила головку дочери и смотрела, как в верхнем углу двери появилась трещина, затем рядом косо пошла другая. И тут Оленька вывернулась из-под руки, соскользнула на пол и встала на коленочки перед иконой. Страха у неё никакого не было, просто она знала, что «так нужно». Девочка громко и аккуратно, как научила бабушка, стала читать попеременно «Отче наш» и «Богородицу», каждый раз крестясь и кланяясь лицом в пол. Она молилась, повторяя молитву за молитвой, а с той стороны двери удары слабели. И в какой-то момент они с мамой услышали, как там раздался звук упавшего топора и этот неизвестный «кто-то» вдруг дико, не по-человечески закричал. Он зверино, с надрывом блял и отчаянно метался по сеням, в крошечной тьме грома всё, что ни попадя, пока с визгом не вылетел на улицу.

Оленька встала с колен, продолжая молиться, подошла к окну, протаяла ладошкой ледок, и они с мамой увидели, что от их дома к далёкому лесу, прямо по глубоко, почти в пояс, заснеженному белому полю убегает чёрный человек. Человек всё время падал, проваливался, оглядываясь и отмахиваясь от чего-то невидимого руками, но крика не было слышно. На сияющем под щедрой луной, переливисто мигающем всеми цветами ледяной радуги, ровном, как покрывало, поле, человек был совершенно чёрным. Даже лицо. За спиной оставался неровный, глубоко развороченный след. Человек, уменьшаясь, все взмахивал и взмахивал руками, словно его преследовал целый рой озлобленных пчёл, пока не растворился в такой же, как сам, черноте мелкого колючего ельника. Так и остался один след под сияющей в ледяном небе луной.

Теперь уже мама стояла на коленях и молилась. Молилась до утра, иногда поднимаясь, чтобы подойти и мокро-солёно поцеловать детей. А Оленька, подоткнутая со всех сторон толстым перовым одеялом, крепко спала, обнимая и согревая братика. Она ведь даже не особо-то испугалась, так и не восприняв произошедшего всерьёз. Да и что могло значить это «всерьёз» для пятилетней девочки? Разбой? Убийство? Этого в её возрасте никто не понимает. Что толкнуло к иконе? Чувство отчаянья? Бессилия перед неотвратимостью? Такое тоже не для детей. Чего же, вообще, было ей пугаться?

Просто кто-то чужой ломился в дверь.

Просто бабушка велела, если «что такое», молиться.

И Боженька всегда защитит.

НИЩИЕ

Они вошли в пустой полуденный храм, неожиданно сильно хлопнув дверями. Небольшая сельская церковка вся переливалась по пёстро расписанным стенам отражаемыми чистым светлым полом солнечными зайчиками. Световые струи живо цедились из высоких окон сквозь качающиеся кроны близких берёз. Один из зайчиков быстро проскочил по груди вошедшего седого, прямо стоящего священника и радостно сверкнул его серебряным крестом. Спутница, крупная полная женщина средних лет, вся в чёрном, под брови подвязанная красной косынкой, тяжело поставила огромные сумки, быстро трижды перекрестилась: «Ты, отец, погоди, пока я

остальное принесу». – «А алтарь там»? – «Там»! – Она вышла, уже старательно придерживая новую, тугую ещё пружину.

Священник сделал несколько неуверенных шажков в глубь храма. Постоял, словно прислушиваясь к трепетным метаниям солнечных бликов, и снова осторожно двинулся к аналою. Он был слеп.

...Свою веру Вера обретала тяжело. Ощупью. Она вообще, пока не закончила школу в рабочем посёлке на рудном севере Казахстана, про Бога ничего и не слыхала. Да от кого? – когда у них в округе самому старому жителю было не более пятидесяти. Ни одного пенсионера. Как во втором классе, согласно программе, учительница сказала, что Бога нет, так на том и поставили точку. Пионерия, комсомолия. Поступать в институт Веру отправили в Россию: в Казахстане русским родителям с их рабочей профессией никаких заработков не хватило бы на взятки и подарки даже на вступительных экзаменах.

Девушка училась, почти как все ребята с её родины, в электротехническом, без особых представлений о том, кем она станет после окончания. Занималась аккуратно, старательно, и, получив диплом, очень удачно распределилась в местный НИИ, работавший над медицинскими заказами. Надо сказать, что выросла Вера ни красавицей, ни дурнушкой, а так, просто «непривлекательная». Хотя и неприметной её не назвал бы никто: она была очень крупной, не толстой, а именно крупной. Ещё дома её обзывали «дылдой», и ребята в школе и в институте всегда с удовольствием брали её в свои друзья-товарищи, но влюблялись и женились на других. Поэтому, когда дело уже подходило к тридцати, она без восторгов, но и не раздумывая, сошлась с охранником из их же НИИ. Брак получился коротким, глупым. Муж был страстным каратистом. Все разговоры, все интересы их первичной ячейки общества должны были крутиться только вокруг его питания, режима, энергетических циклов и ещё того, кто кому как «сбил кукушку». Причём страсть эта была явно какой-то односторонней: результатов от каждодневных занятий, спортивных или педагогических, не наблюдалось. В соревнованиях он не участвовал по возрасту, а места сенсеев в секциях и клубах давно были уже расхвачаны разными «козлами». Поэтому, когда родилась дочка, Вера со «своими» пелёнками и ваннами ушла от его циновок, палочек и кимоно, особо этим не расстроив всё также занятого затянувшимися играми «отца».

Когда дочурке исполнилось полгода, она подхватила воспаление лёгких и скоропостижно умерла. Вера попыталась найти хоть чуток тепла у бывшего мужа, но тот только наорал, что «сама, дура, во всём виновата», и чтобы «его больше не беспокоила».

Что ж, она и не беспокоила. Никого. Ни в чём. Одиночество неотступно нагло глядело в её окно, и она перестала раздёргивать шторы и выключать свет.

К Вере начала захаживать одна медсестра из той больницы, где не смогли спасти её крошку. Вначале она едва терпела эти визиты, но тётка была упорна в своих заботах о впавшей в постоянно знобящую, сонливую апатию Вере, что-то постоянно приносила и уносила, готовила, протирала пыль, штопала, гладила и говорила, говорила, говорила. Медсестра, как ей сразу показалась, была с «прибабаками»: всю зиму ходила в лёгком плащике, а в солнечные дни даже и босиком. И повсюду носила с собой книжицу с портретом бородатого и волосатого не то Мельника из «Русалки», не то просто лешего. Постепенно Вера стала привыкать к ней, вслушиваться, что-то спрашивать, отвечать. И через полгода уже сама была активным адептом ивановского движения, рекламируя всем знакомым и незнакомым «здоровый образ жизни».

Возле подъезда облупленно-серого пятиэтажного панельного дома, где была её комната в малосемейке, во дворе стоял бывший киоск «союзпечати», приспособленный кооператорами под пивную точку. Вере нравилось в какое-нибудь особо морозное, по-городскому удушливо-хмурое утро выходить на заснеженный, в глубоких кривых тропках двор с двумя ведрами холодной воды. Группка с самого ранья трясущихся около ларька мужичков, перекошенных тяжелейшим похмельным недугом, разом замирала в самых различных позах, видя её в одном купальнике и босиком. Когда Вера, мысленно обратясь к Земле и Учителю, выливала на себя первое ведёрко, алкаши синхронно делали глубокий выдох, и, уже в новых позах, не мигая выпученными красными глазами, следили, как по телу здоровенной девахи скатываются в подтаявший грязновато-серый снег парящие капли. Затянув кадыки, они дружно держали выдох до второго окатывания. А после учащённо хватали раскрытыми ртами воздух, но своими восторгами

делились самым тихим шёпотом. В груди от увиденного и искренне сопережитого шока у них явно теплело, ломка отпускала.

Ивановство приоткрыло для Веры щёлочку в мир совершенно до того незнакомых мистических переживаний. Само учение для «деток» было, конечно же, достаточно примитивным, рассчитанным на неграмотных, необразованных людей. Но ради желанного «здорового образа жизни» на заседания клуба приходило много разных, порой очень ярких, неординарных личностей, и приносилось много разнообразной литературы. Вера знакомилась с философами и спортсменами, медиками и экстрасенсами, много и взахлёб читала, посещала полуподпольные кружки релаксационных сеансов и энергетических гимнастик. Это не было собственно каким-то настоящим личным мистическим опытом, и хотя она участвовала в групповых медитациях с обещанием «выхода в астрал», у неё не было ничего такого, что можно было бы назвать «чудом». Да и не этого она искала. Просто ей вдруг открылась целая россыпь неведомых до этого реалий и фактов, легко укладывающихся в любые логические цепочки, объясняющие связи между внешне вроде бы никак не сопрягаемыми событиями и явлениями человеческой жизни. От интереса приёмами психической саморегуляции, она потянулась к увлечению социальным психоанализом. Из-за этого Вера вскоре перешла на работу в институт экспериментальной медицины, так принципиально сменив уважительное отношение коллег к себе как к специалисту по электронным системам, на настороженное восприятие новичка в системах социальных. Конечно же, её, как неудачницу, острее всего влекли проблемы семейного обустройства. Хотелось понять законы межчеловеческих отношений и научиться гарантированно прогнозировать первейшее человеческое счастье. Сгоряча она даже стала соискателем степени «кандидат психологии». Но все сотни перечитанных за два года томов схем и тестов, десятки адаптируемых для России рецептов не несли никакого осязаемой уверенности в правильности понимания «системы». Так как, в основном, это были всё зарубежные авторы, диагностические методики и рекомендации которых оказывались совершенно не применимы в отечественных условиях. Ибо основой западной формулы семьи являлся гражданский договор, в котором само понятие любви полностью отсутствовало. А такое она уже проходила.

В какой-то момент подступила усталость и не такая явная, но причинно более глубокая апатия ко всему происходящему вокруг. И, в первую очередь, к самим людям. Раздражала повторяемость их глупостей и ошибок. Где оно, счастье? Вера теперь слишком хорошо понимала всё в чужих конфликтах, слишком просто давала советы другим – слишком, чтобы следовать им самой.

Результатом постоянных переохлаждений явилось воспаление надпочечников. Чаще всего у ивановцев, после года-двух обливаний, начинала отказывать печень. И уже не помогали ни диеты, ни чистки, ни голодания: белки глаз у всех желтели, суставы, особенно когда-либо травмированные, гнулись со скрипом и болями, появлялась неугомонная озлобленность. Старшие товарищи страдали и умирали от преждевременных сердечных приступов. А у неё вот не выдержали почки. Скоро отдельные приступы слились в единую пытку. Боль была непереносимой, Вера стонала и каталась по дивану, ища и не находя хоть минутного забытья. И вдруг, словно что-то стукнуло в висок: она на четвереньках подползла к рабочему столу, с криком вырвала верхний ящик и, ничего не видя, нащупала среди рассыпавшихся бумаг карманный календарик. Приставив к спинке дивана перед собой изображение Божией Матери Иверской, она так и простояла перед ним на коленях почти сутки. Облокотившись на диван локтями и грудью, она то в голос молилась наивными, идущими со слезами словами, то, ощутив какое-то облегчение, дремала. И боль её оставила.

Потом была долгая, тугая депрессия. Весь мир по кругу отгородился от Веры толстым и пыльным стеклом. Словно она оказалась под огромным мутным колпаком, куда с трудом проникали звуки, а краски становились серо-блеклыми, с каким-то едва уловимым фиолетовым оттенком. По ночам мучили удушливые, переливающиеся бесформенным перламутром кошмары, а потом и сами ночи не стали ничем отличаться от таких же пугающе тёмных дней. Она даже ложилась теперь только на пол, а на диване её «покачивало». Самым уютным было сидение в углу за столом, без понимания происходящего и в отсутствии всяческих желаний. Даже вестибулярный аппарат отказывал, словно Вера утратила под собой всякую опору и мучительно медленно тонула в густой клейстерно-слизистой массе, без всяких понятий «право», «лево», «верх», «низ»....

Психбольницы удалось избежать, и с работы она уволилась сама. В какой-то момент неудержимо сильно потянуло куда-то «домой». К родителям? Или просто в детство.

Тут пришла телеграмма, что умер отец, и Вера поехала на родину в уже отделившийся границей самостийный Казахстан. Ночной пейзаж за окном поезда буквально иллюстрировал её душевную хлорную сухость: чахлая бесконечная лесополоса за волнами провисших проводов, неожиданный ярко освещенный переезд, и снова лесополоса, лесополоса. Да огромный ковш Медведицы в чёрном безлунном небе.... А днём старенький «ПАЗ» так же укачивающе тащился по совершенно пустой пропылённой узкой шоссе с выщербленным асфальтом. Несколько тощих серых пирамидальных тополей обозначили прибытие в детство. Здесь не появилось ничего нового. Всё почти как прежде. Только «почти»: прежнее теперь оказалось каким-то маленьким, убогим, сиротливо покинутым – посёлок третий год населяли безработные. Кто смог, тот уехал, кто не смог – промышлял подсобным хозяйством, извозом или разбоем. После большого города всё выглядело каким-то игрушечно не настоящим, не таким, как хранилось в памяти. Ведь даже школа ей помнилась выше, чище, солидней.

Мама, милая мама, какой же она стала старушкой! Хотя старалась, красила брови и губы, но от этого выглядела ещё более жалкой. Свежая могилка отца в череде таких же, абсолютно одинаковых могил на лысом кладбище, младший брат, всеми правдами и неправдами старающийся прокормить своих троих птенцов, сноха-немка, говорящая только о том, как хорошо её родственникам в Германии. Встретили Веру дружно, но ещё на раз быстро-быстро убедившись, что она неудачница, что пользы от неё никому не будет, тут же дружно забыли. А она даже с радостью целыми днями сидела в пустой маминой двухкомнатной квартире, не желая встречаться ни с обабившимися семейными заботами одноклассницами, ни с новой, собирающей чемоданы на «историческую родину» родней. Не хотела и всё. Слишком тяжела была их откровенная к ней назидательная жалость: вот, мол, возраст стукнул, а ни мужа, ни детей. Где-то там училась, трудилась, а теперь сюда приковыляла с одной сумкой через плечо. Зачем же она «там» жила? И приехала теперь-то, поди, делить с братом наследство.... Эта тупая, убого провинциальная рачительность даже не обижала, а просто давила. Ну их! Вот ещё немного посидит, отметит сорок дней и вернётся туда, где до неё нет никому никакого дела.

В один такой безликий и безмятный день в дверь позвонила и ворвалась тётя Лиля, соседка по лестничной площадке. Привычно ещё по детству, она с порога заклокотала, затараторила, с ходу врезав: «Ты всё равно бездельничаешь. А ко мне брат приехал. Ну, ты его помнишь, должна помнить: он художник».

Как же было не помнить: Вера пошла в школу, когда он, высокий худой студент, приехал из своего Московского института на каникулы. Она впервые увидела тогда молодого человека с бородой, с чёрной массивной трубкой в зубах и со странной плоской деревянной коробкой с членистыми выдвижными ножками из алюминия. Название этой коробки она тогда так и не смогла запомнить.

Тётя Лиля в минуту успела сделать вихревой круг по их комнатам и вернулась в прихожую, продолжая трещать:

- Так вот брат приехал. Ты только не пугайся – он теперь священник. Но попал год назад в автокатастрофу, потерял жену и сына, а теперь ещё и слепнет. Ты же всё равно бездельничаешь, так и помоги ему! Пошли, чего ещё ждёшь?

Полная недоумения относительно своих возможностей кому-то в чём-либо помочь, Вера обречёно пошла за соседкой. Квартира у той представляла собой настоящую мастерскую, но совершенно непонятного рода ремесла. Всюду стояли и лежали узкие фанерные ящики, пустые и залитые до краёв гипсом. Да этот гипс был везде: в полиэтиленовых мешочках, чашках, тазаках, просто кучками на полу. И ещё повсюду валялись большие и маленькие клочки золотой и серебряной фольги, скручено пустые тюбики клея «Момент» и самые различные щепочки, досточки и брусочки. Посреди всего этого нарядно блестящего и белевшего хаоса стоял Виктор. Встреть его Вера на улице, она ни за что не узнала бы в этом чуть располневшем, длиннорылом и очень усталом мужчине того, запомнившегося в детстве, кажется даже черноволосого, парня с важным, надменным выражением лица. Сейчас Виктор был совершенно седым, на глазах какие-то безобразные блестящие очки, из-за которых на лоб криво взбегал белый шрам. Ах, да, катастрофа!

Одет он был в большую клетчатую незаправленную рубашу, джинсы и босиком. Разве священники так ходят?

- Кто там? – строго спросил Виктор, не поворачивая лица.

- А Вера это, соседкина дочь, что напротив. Она согласилась, а я побегу. Опаздываю, совсем опаздываю! – выпалила тётя Лиля и исчезла. Вера растерянно улыбнулась, теперь ей бы хотелось только узнать, на что же всё-таки «она согласилась»?

После окончания Суриковского Виктор, с женой и только что родившимся сыном, как «нацкадр» вернулся по распределению в Казахстан, сразу получив мастерскую и квартиру в Чимкенте. Работал в местном худфонде по керамике, копил зачётные выставки для вступления в Союз художников. Всё шло благополучно: заказы были всегда на год вперёд, и, значит, в свою очередь выкуплены кооператив и машина. Без проблем доставались творческие дачи и командировки. Здоровья было много, друзей тоже хватало. Весёлой командой отдыхали в горах, ели шашлыки, пили водочку, покуривали анашу. Даже от предложения перебраться в Алма-Ату он отказался: зачем журавель в столице, если уже есть хорошая сытая синица в провинции?

И вдруг всё рухнуло. Выяснилось, что старший двенадцатилетний сын стал токсикоманом. Только что беззаботно светило солнце, жизнь становилась всё лучше и лучше. И вот, рухнуло.... Они с женой стремительно покатались по сужающимся к неминуемому кругам ада: бесконечные детские комнаты милиции, несколько курсов принудительного лечения, поочерёдные дежурства возле дверей, чтобы сын не сбежал к «приятелям». Перебрали всё: от самых дипломированных психотерапевтов до лам-китайцев. Чтобы оторвать его от плохой компании, решили переехать куда подальше. Но и в Перми сын быстро нашёл «своих», стал воровать. Опять безрезультатное лечение, дурдом.... Идиотизм развивался стремительно, замкнувшийся в безвременьи сын, при любых попытках выйти с ним на контакт, мгновенно становился агрессивным. Его уже ничего не интересовало, кроме того, чтобы хоть на минуту сбежать из-под родительского надзора. Виктор всё чаще ловил себя на том, что он с ужасом смотрит на рост младшей дочери, всё чаще ругая и наказывая её за то, что она не совершала. Пока ещё не совершала...

Там, в Перми, Виктор с женой стали посещать храм. Сначала просто заходили на вечерние богослужения немного постоять, молча и тайком от всех и друг друга помолиться. Да какой там помолиться! – поплакать и пожаловаться неизвестному ещё ими Богу на свою безутешную усталость. Старинный храм переливался огоньками множества свечей, запах горящих лампад и ладана щекотал горло, вызывая сдавленное рыдание. Они, даже не понимая слов звучащего хора, стояли каждый в своём углу тёмной широкой церкви и в то же время вместе чувствовали, как со слезами душу по каплям оставляет тяжесть безысходности. Постепенно на освобождающееся место затекала необыкновенная сердечная теплота, словно после долгих скитаний по злой и жестокой чужбине они возвращались домой. Домой – к ещё неизвестным, но своим, извечно родным – к России, к Православной Церкви.

На одном из таких вечерних богослужений, Виктор совершенно неожиданно для себя встроился в группу верующих, стоявших на общей исповеди. Вслушавшись в проповедь, он так же вместе со всеми стал громко каяться в перечисляемых грехах. «Отпустить» на помощь молодому священнику мелко шаркающей походкой вышел из алтаря до скелета иссушённый, какой-то совершенно серебристый старец. От него явственно лучилась некая упруго ласковая, умильно утешающая, но при том и твёрдо защищающая отеческая сила. И Виктор последним, подражая тем, кто стоял в очереди до него, упал перед старцем на колени и склонил к нему голову. Тот покрыл Викторов затылок епитрахилью, прижал сухонькой, лёгкой и – через толстую с подкладом ткань! – горячей рукой:

- Ну, – и?

- Батюшка, не могу больше. От жизни устал. Устал. Хоть руки на себя накладывай.

Ладонь вместе с епитрахилью сползла с его головы. И, нагнувшись, в упор, глаза в глаза восьмидесятилетний взглянул в сорокалетнего:

- А ты о Боге думай! Всё время, каждую минуточку. Слышал же: «Без Бога не до порога».

Вот так и живи.

И резко, неожиданно звонко:

- Имя?! Отпускаются грехи рабу Божьему...

Это было как молния. Ну что особого могло содержаться в этих самых простых, самых бесхитростных словах? Дело было не в них. Просто встретились, соединились два сосуда: один пустой, мёртвый, другой переполненный, истекающий благодатной живительной силой. Произошло смыкание. И всё вокруг озарилось: «Без Бога ни до порога». Без Бога не до порога...

Через два года Виктор был рукоположен в диаконы, ещё через год стал священником.

А потом потерял жену и сына.

В результате аварии Виктор стал слепнуть. Уволенный по увечью за штат, он списался с сестрой, и решил вместе с дочкой переехать к ней в посёлок.

Слепота облепляла постепенно, но неотступно, не оставляя никаких надежд на выздоровление. Сначала пропала резкость, затем вместе с цветом стал меркнуть и сам свет. Служить нельзя, но у него же, как профессионального скульптора-керамиста, были очень чуткие, умные и образованные руки. Ими можно продолжать работать. Работать по памяти. Пусть православие не признаёт в своём богослужебном обиходе объёмную скульптуру, но барельеф! Это же как раз то, чем он и занимался в миру. Да, барельеф. И это не только поздние барокканские околочатолические вкрапления восседающих над иконостасами «Бого-Отцов» и купидончатых «ангелочков», привнесённые вместе с присоединением крепко оиезуиченной Киевской Украины, но и древнейшие, истинно русские, резанные по камню и дереву, а затем и литые из меди и латуни иконы и складни. А оклады, наши русские оклады!

Понятно, что на мелкую пластику нечего было и замахиваться. Виктору оставались киоты и одеяния престолов. Вообще-то, исторически престолы поверх нижней полотняной катасарки (похоронной пелены Иисуса) одеваются в парчовые индитии, символизирующие славу Бога. Но ему доводилось видеть, особенно в больших и богатых соборах, престолы, на которые поверх белых нижних рубашек-катасарок надевались и крепились плоские золочёные барельефные украшения с евангельскими сюжетами на все четыре стороны, закрытыми стеклянным коробом в витых столбиках-рамках. Естественно, они тогда очень заинтересовали его профессионально. Внимательно изучив принцип изготовления и систему крепления, Виктор поприставал к старшим священникам насчёт каноничности такого украшения алтаря. Но даже трудно было установить время, с которого стало практиковаться такое благолепие. Понятно, что после Никона. А православно ли? Да точно также можно было бы тогда засомневаться и по поводу запрестольного семисвечника, тоже когда-то привнесённого вместе с «богословием» Петра Могилы, но ныне уже неотделимого от других атрибутов православного богослужения.

Ребята из Подмосковья поделились с ним всем, чем могли, лично сделали и упаковали в дальнюю дорогу формы-матрицы и самих сюжетов, и рамочных и узловых орнаментов оформления и крепежа. Объяснили тонкости технологий и последования сборки. Для первых работ даже оторвали от сердца по рулону эластичной тончайшей фольги под «серебро» и «золото», под страшным секретом воруемой с закрытого военного производства. Использование золотозаменителя давало возможность украшать престолы даже в бедных храмах.

Когда на прощанье они обнимались, Виктор ощутил на своей щеке чужие слёзы.

Одежду первого престола отлил, оклеил и собрал он практически сам. Но на втором деле застопорилось – правый глаз совсем отказал, левый видел только контуры. Попробовал нанять помощником пьяницу художника-оформителя из местного клуба. Мужичок был мастеровой, работал быстро, и, в общем-то, качественно. Но как долго можно было терпеть, когда рядом с утра до вечера из табачно-перегарного горла непрекрываемым потоком выливалась беснующаяся матерная грязь? Все шуточные и не очень монологи этого круто исписанного наколками Санчо Пансы велись на одну волнующую его тему: мол, бедные старушонки несут в церковь последние копеечки, а попы ездят на «волгах» и закапывают под яблоньки кубышки. Разве можно было даже попытаться объяснить этому человеку, что Виктор работает бесплатно? Он рассчитался из своей и сестринской пенсий, но «Санчо» ещё долго ещё заходил за какими-то мифическими недоплатами, стучал и орал под дверь, требуя и угрожая то судом, то ножичком. Нет, лучше уж непрофессионал, но лишь бы человек чистый. А, если бы верующий, то уж совсем роскошь!

Вера как могла аккуратно оклеивала фольгой узоры. И молчала. Отец Виктор (она наконец-то стала привыкать к тому, что он – «отец») своими быстрыми пальцами успевал перепроверить её работу, строго замечая то, чего не замечала она, зрячая! Одновременно успевал он прощупывать и

отмечать малейшие дефекты, раковины и наплывы из только что вынутой из матрицы отливки большого барельефа с Христом, на коленях молящимся перед висящей в облаке чашей. Ангел с большими крыльями, стоя за плечами Спасителя, грустно склонил голову. Отец Виктор пробежался по кудрявому облаку, по тонкому согнутому дереву, большому камню, и задержался на сцепленных пальцами руках Иисуса. Что-то подчистил крохотной деревянной лопаточкой. Вера, глядя на его труд, едва могла поверить, что он уже совсем слеп. Украдкой поглядывая на его плотно закрытые тёмными веками глаза, серо-седую прядь, выбившуюся из схваченной на затылке резинкой косички, играющие под бородой желваки. И не понимала: как можно на ощупь так точно помнить – что и где должно располагаться. Точно до миллиметра. И, при этом, думать, рассуждать вслух о чём-то отвлечённом. О чём?

Речь отца Виктора была ровная, плавная, без напряжения. Он говорил и говорил, не ожидая ответа, и, кажется, не требуя даже внимания. Так, словно в никуда:

- «Не убий, не укради». Эти ветхозаветные заповеди никто не отменял. Но в наших с тобой случаях это несколько не актуально. Это, прежде всего, для людей активных, для тех, кто всегда готов натворить что-либо, может быть губительное для себя, для своей души. А когда твоя душа даже не то, чтобы обмерла, а словно бы в коме, тогда нам с тобой к Нагорной проповеди надобно прежде прочего обращается. К заповедям Нового завета.

Чуть глуховатый голос звучал отстранёно, но Вера вслушивалась всё внимательней и чувствовала, как внутри её растёт чего-то ждущее напряжение. За этим успокаивающим журчанием было что-то знакомое. Да! – точно также, давным-давно, когда она, ещё студенткой, на институтских соревнованиях прыгая в длину, вывихнула ногу, то врач, такими же отвлечённо круговыми поглаживаниями около горячей болью лодыжки долго и терпеливо перебирал косточки и связки распухших суставов.

- Нагорная проповедь – это лестница, на которой не прыгнешь через ступеньку. Тут только шаг за шагом. И вот самая первая ступень духовного восхождения отчего-то всегда является преткновением для всех, абсолютно всех религий, пародирующих христианство. И для коммунистов в том числе. Все они, так или иначе, приемлют и чистое сердце, и миротворчество. А как обожают, особенно сектанты, «гонимость»! Всё, кажется, проходят. Но на первой, на нищете духа, падают. Никак этого не могут принять. А ведь так, кажется, просто выбрать между Христом и Ваввой, Царством небесным и... этой вот демократией.

Отец Виктор вдруг встал. Тщательно, палец за пальцем, вытер руки чистым вафельным полотенцем.

- Кто такие «нищие духом»? Ну, «нищий» – это, прежде всего, «не ищущий», не жаждущий в этом мире ничего. То есть, не только не имеющий, но и не желающий иметь мирских благ – «искать» их. И второе значение: «нищий» – это «ничей». Никому и ничему сам здесь не принадлежащий. Ты вот сама здесь чья?

«Чья»? Это было как тот неожиданный рывок, вставивший вывихнутый сустав на место. Боль ударила в голову, сжала сердце. Чья? Чья она? Здесь. Тридцать пять лет короле. Ни кола, ни двора. Ни вчера, ни завтра. Муж, без любви пришедший и ушедший. Могилка дочери, которую поласкать даже толком не успела. И отец вот умер. Недоделанная диссертация. Мать, живущая братовыми внуками. А сам брат? Жалеет, но тоже тяготеет её абсолютной бессмысленностью. Чья она?

- Ничья. Ни-чья! Никому я не нужна! Ни на Земле, ни на Небе. Никому!

- Вот глупости. Глупости. И ложь. Если бы это было для тебя правдой, ты говорила бы это с гордостью. Со злобой, даже со счастливой ненавистью ко всему. А тут у тебя такая тоска звучит. Значит, не уверена, сама свою ложь чувствуешь.

- Я?! «Не уверена»? Да кому же я нужна? «Нищая». Да! Точно я «нищая». Ничья. И не ищущая. А кого мне искать? И... где? Где? Кого? Кого искать?!

- Слава Богу, вот он и вопрос! Давай, давай, просыпайся, прозревай. Слава Богу, слава Богу за всё. – Отец Виктор крестился сам и крестил её:

- Ты спрашивай, спрашивай. Обо всём, обо всём. Слава Богу, просыпайся, спрашивай.

В эту ночь Петровна глаз так и не сомкнула. С вечера после правила вычитала все каноны, последование ко причастию, и легла, уже казалось без задних ног, ан – нет. Вертелась, вертелась. Пыталась творить Иисусову молитву, но всё сбивалась, мысли метались, а сердце хватало так, что к утру волокардин кончился. Да ещё кот, зараза, устроил побоище с соседом прямо в палисаднике. Петровна с горячих и вдруг неудобных подушек только завистливо косила на тихо похрапывающую на крутом диванчике свою гостью, старую толстую монахиню Павлу. Вот ведь как раззадорила, завела все пружины, и сопит теперь себе в райском блаженстве. Конечно, ей-то что, она завтра не хозяйка, не староста прихода, в который заедет по дороге в Барнаул митрополит. Господи, помилуй, что-то ещё будет. Ох, Павла, Павла! Надо же, насоветовала, и спит. А ещё и подарок привезла. Петровна нежно посмотрела на свежеекрашенный жёлтой половой эмалью, самодельный одежный шкафчик, в котором с уже давно отложенной белой рубахой, двумя апостольниками и подштопанным, но вполне хорошим подрясником, лежал теперь и новенький, пахучий, плохо ещё гнущийся монашеский пояс. Ничего себе, подарочек.

Конечно, все знали, что монахиня Павла приезжала за полторы сотни километров от своего кафедрального собора не по доброй воле. Не то, чтобы ей не нравилось, как её здесь принимали – беседы у них с Петровной, ровесниц и почти землячек, всегда творились самые задушевные. И с пустыми руками её в город не отпускали. Но, стала бы она собственной волей так мучаться в дороге со своими жутко пухнувшими, трудно переставляемыми ногами, которые с утра и обувь-то было проблемой. Понятно, это было послушание от владыки: приход их был первогодним, люди собрались разные, каждый с «биографией», да и батюшку прислали непростого. Нужно было послезживать. Петровну саму, как старосту, религиозно уполномоченный так сразу и предупредил: «Нам такой поп не нужен. Если заметишь что антигосударственное, сразу знаешь что делать. Чем скорее сообщишь, тем лучше. Понимаешь: тебе лучше!»... Ишь, ты, нашёл Иуду! Да за такого батюшку, как ихний, они всем своим старушачьим коллективом под нож пойдут. Он же каждый день литургию служит, каждый день! Господи помилуй, для тех, кто понимает.

А Павла-то сопит. Да, раззадорила. Бросайся, мол, завтра владыконьке в ноженьки, подавай прошение на монашество. Ты, мол, во всём достойная. Вот и думай теперь, «достойная!» Грехов-то по самую крышу. Один характер её взрывной, что от родной маменьки достался, чего стоит, только из-за него в аду сгоришь, а ещё и помыслы мытарят.... Но, с другой-то стороны, постриг, он, как и крещение, всё смывает.... А смыть есть чего....

За свои семьдесят два Петровна пережила семь микроинфарктов, удаление пол-легкого, две операции на спайках в кишечнике, четыре перелома рук и троих мужей. И тюрьмы и сумы попробовала. А ещё её жизнь была просто переполнена разными чудесами – кому не тому рассказать, так точно в дурдом спровадят.

Когда она начала себя помнить, прадедушке было уже более ста лет. Он жил на русской печи за красной ситцевой занавеской. Именно жил, так как жизнь его состояла из снов. Прадедушка спал по трое-четверо суток, два раза в неделю спускаясь, чтобы поесть тюри из молока и мякиша. В эти дни он уже с обеда начинал ворочаться за своей занавеской, тихонько постанывать и покряхтывать. А ближе к сумеркам медленно-медленно спускался. Этого момента уже ждали, собирались все ближние родственники, прихватив рукоделие, летом на крыльце, а зимой в большой светлой горнице. Сидели всегда поодаль, тихо, ибо прадедушке нельзя было мешать «вкушать» его тюрю, он этого не любил. Даже дети разговаривали полушёпотом. Откушав, прадедушка долго и аккуратно расчёсывал свою длинную, в пояс, но прозрачно реденькую бороду, распрямлял пушистые, как у одуванчика, волосы. Потом, строго оглядев придвинувшихся потомков, словно пересчитав их, начинал рассказывать свои сны.

Странно, Петровна хорошо помнила самого прадедушку, его тонкие, иссохшие словно лучинки, руки, тёмное, но без морщин лицо и выпцветшие до белизны глаза. Даже голос его тоненький, как бы с трещинкой, помнила. А вот самих его снов – нет. Был только один, но в позднем пересказе отца. Они все тогда пытались объяснить его, но не могли. Вот он:

«Выходит дедушка (для отца он-то – дедушка) на широкое поле. А в поле том стоит народу видимо-невидимо. И все замерли как столбушки, смотрят куда-то в одно место. Стал дедушка пробираться вперёд, узнать, что их так привлекло, что замерли все не шелохаясь. Идёт, идёт, а

народ всё гуще, гуще. Наконец протолкался и видит: посреди широкого поля, что со всех сторон народом заставлено, сидит за столом человек. Сидит и держит в каждой руке по перевёрнутому стаканчику. И катает этот человек из-под одного стаканчика под другой стаканчик шарик. Катнёт и накроет, катнёт и накроет, а народ внимательно смотрит. Долго человек катает, очень долго. Вот и раздались откуда-то первые голоса: «Хватит! Хватит!», а тот, знай себе, перекачивает. Вот уже больше человек закричало: «Заканчивай!»! А тот катает себе и катает. Ещё больше голосов раздаётся. Ещё подкрикивают. Но и человек упорен. Голоса множатся, крепнут. Наверно уже половина всех, кто на поле собрался, кричат. А шарик – то под правый стаканчик, то под левый. Народ всё сильнее, громче, а человек катает. Вот уже почти все орут: «Всё! Хватит! Хватит!»! А тот, знай, перекачивает себе шарик из-под стаканчика под стаканчик. И только когда всё поле, в один голос, гаркнуло: «Кончай! Надоело!»!, тогда человек накрыл шарик одним стаканом и встал. И, уходя, хитро так дедушке подмигнул».

Уже лет через пять, как прадедушка умер, Петровна опять увидела его. Да, тогда она ещё не Петровной, а Нюркой кликалась. Они со старшей сестрой решили вместе с мальчишками сделать набег на огород вредных-превредных бездетных соседей Былиных. Она, бедовая деваха, первая из налётчиков забралась на забор с дальней от дома стороны, где не могла бы услышать хозяйская собака. И уже сидя на качающемся ивового плетения заборе, вдруг увидела перед собой знакомую белую рубаху, тонюсенькие, расставленные в стороны руки, сухонькое, в белой опушке, лицо. Удержаться было невозможно, и она всё же прыгнула, но в сторону от страшного видения. Потом выяснилось, что в этом месте злые и жадные хозяева поставили вдоль забора литовки острыми лезвиями вверх. И если бы дети перепрыгнули здесь, то обрезали свои босые ноги, став на всю жизнь калеками.

Что уж прадедушка, когда у них вся родня была с дарами. Вот, бабка по матери, пользовала всю округу заговорами. Заболит ли зуб, потеряется ли телёнок, мужика ли вдруг закрутит куда «на сторону» – все бабы, и не только из их деревни, но и за десятки вёрст шли к ней с поклоном. Кто с молоком, кто с огурцами, кто с мукой. Деньги та никогда не брала, за грех считала. Бабка кое-что и внучке передала, всегда явно выделяя её из всего потомства. Пришлось потом каяться, пришлось. Но, а как людям не поможешь? Тоже ведь жалко.

А и вот пример. С утра мама строго наказала детям: «Сёдня праздник. Благовещенье Пресвятой нашей Богородицы. Работать нельзя, грешно. Подите лучше, погуляйте до обеда. Сёдня девица косы не плетёт, птица гнезда не вьёт». И они скорее побежали в берёзовый лес подсекать кору и пить обильно капающий сладкий сок, пока взрослые насчёт работы не передумали. Обегая рощицу мелких осинок, зеленоватые стволы которых стояли почти по колена в талой воде, вдруг увидели они дрозда, несшего в клюве соломинку. Что тут втемяшилось Нюрке в голову, но её словно ветром на месте развернуло. Ещё только вбегая в калитку своего двора, она уже, захлёбываясь от обидных слёз, кричала в открытое окно летней кухни о том, что «ты, мама, нас обманула! – а птица-то гнездо плетёт, плетёт!»! Едва святой водой отлили, а то бы задохнулась. Но зато, когда на следующий день они опять обходили эту же осиную рощицу, увидела Нюрка своего дрозда повесившимся. Птица попала головкой в узкую развилочку между веточек, не смогла сразу выбраться и задавилась. Только соломинка в клювике сломалась. И опять её отливали, успокаивали под «живые помощи». А она всё твердила: «Не послушался дроздик, не послушался, бедненький. Грех же в Благовещенье работать».

Учёба в школе ей давалась плохо. Память была с дыркой: ничего не задерживалось, всё забывала. Поэтому, едва-едва Нюрка научилась складывать буквы, мать, чтобы выпросить ей память, стала заставлять её каждый день читать акафист святителю Николаю. Нюрка, хорошо зная нелёгкую мамину руку, первое время старалась, но потом прыть ослабла, задание по возможности стало опускаться. И вот однажды она, вернувшись из школы, спохватилась, что потеряла совсем новую, красиво расшитую варежку. Выпорют! Со страху схватила молитвослов и давай громко, со слезами читать. Хлопнула дверь, с морозным паром вошла мать, держа пропавшую варежку: «Чё это соседский Шарик её принёс и передо мной на крыльцо положил? Или он у тя отнял?»... А и память потом появилась. Да не просто так: она от юности до последних своих дней, не открывая книг, знала на зубок не только две дюжины акафистов, но и практически всю псалтырь. И в церковной службе на любой праздник могла любое слово подсказать.

В четырнадцать её вместе с восьмидесятилетней отцовской бабкой застучали на сжатом колхозном поле за собиранием утерянных жнецами колосков. Исходя из их мало- и старолетства, дали всего по два года. Бабка померла на этапе, а Нюрка честно с такими же малолетками гоняла огромные плоты по Чулыму. От багра девчачьи пупы развязывались, а подобных комаров, что в тех местах тучами роились – огромных, рыже-полосатых, она никогда нигде больше не встречала. Тогда вот с надрыва и расти перестала, осталась горшок с крышечкой.

За эти малый рост и худобу особо её обижала первая свекровь.

Лёша был удивительно молчалив. Как только предложение замуж смог из себя выдать? Зато матушка его не замолкала. Мало того, что болтала без ума и умолку, так она ещё всегда кого-нибудь грызла. Что уж там, «кого-нибудь». Сношеньку: и мала, и тоща – и не работница, и родить не сможет.... Но и Нюрка после лагерей знала какими словами за себя постоять. Так что, дней через десять после свадьбы молодые перебрались в другое село. Там была почта, куда Лёшу взяли курьером. Хотя свекруха, как могла, их и там доставала.

Однажды, в послепокосный свободный вечер пришёл муж с рыбалки и вдруг разговорился. Он, всё время оглядываясь, в страхе скорым полуслёпотом рассказал, что чуток придремал над удочками, как вдруг на противоположном берегу протоки, из густой осоковой заросли вышли две девочки в длинных белых рубашках. Они стали показывать на него пальцами и смеяться. И кричать: «Этот наш! Этот наш!» У Нюрки сердце сразу хватануло, поняла она, что это русалки были. Беда. Ох, беда! Пришлось срочно собираться и опять к свекрови назад переезжать, от реки подальше. Чтоб только солёная степь кругом, да лужи после дождя. Столько обид она тогда перенесла, и понапраслины. И хоть зубки-то у неё имелись, но она их про запас сложила, больно мужа жалко было. Любила же его, ох, любила....

Прошло время, стало уже и забываться, как вдруг на неё напала сонливость. Просто из рук всё валилось. Стоило только где присесть или просто прислониться, то миг всё вокруг мутнело и плыло, и никакие вопли или толчки свекрухины уже не помогали. Нюрка спала ночью, днём, за работой, за едой.... И тут-то к ним заглянул с почты, с которой они воротились, работник. И попросил Лёшу по старой памяти за него три дня почту поразвозить, пока он на братову свадьбу отлучится. Нюрка на дойке в поле была, так что Лёша даже не сказался и поехал. А на пароме молодая лошадь, укушенная слепнем, резко дёрнулась и сбила его за борт. И, видно, он крепко ударился при падении, так что сразу пошёл на дно. Всё как всегда, молча. А случилось это ровно через год – день в день с той рыбалкой....

Петровна, – вдова, хоть и молодая, а всё, раз вдова, то уже Петровна, – горевала без удержу. За ней даже следили, как бы руки на себя не наложила. Она каждый день прибегала и в лёжку лежала на мужней могилке. Тогда-то и простыла, стала потихоньку покашливать. Но, слава Богу, на сороковой день как отрезало. Видно душа Лёшина далеко отошла, не стала её удерживать. Тогда она собрала свои вещи в наволочку и поехала в город на стройку. В сельсовете не держали, понимали, что рядом с такой свекровью ей всё одно не выжить. Город бурно строился, много деревенских там работало. А через два года началась война. Для Петровны эта война как началась, так и кончилась: она, мобилизованная на военный эвакуированный завод, по две смены без выходных и проходных до самой победы простояла у сверлильного станка на ящичке. Из-за роста.

Летом сорок пятого привела к себе в барачную конурку контуженного и горелого танкиста с медалями. Была ли это любовь? Спросил бы кто тогда. Пришла Победа, и всем вдруг захотелось жить. Просто жить. По-человечески, и чтобы дети были. А любовь русалки увели.

Барак их стоял с самого краю старого, вросшего в город кладбища, совсем недалеко от небольшого, обветшалого храма. Кладбищенскую церковь заново открыли в сорок втором, по сталинскому указу. Но, не смотря на такую вот близость, во время войны даже зайти времени не случалось. Даже на три Пасхи из четырёх ей смена выпадала. А четвёртую пролежала на операции: правое лёгкое, застуженное на мужней могилке, окончательно разрушилось в холодном цеху.... Новый её сожитель, как почти все калеченные, крепко попивал. Получка и аванс, воскресные выходные, советские праздники, встречи с друзьями по Первому Белорусскому.... Она уже была на пятом месяце, когда в первый и последний раз заикнулась о венчании. Всё равно, мол, беспартийные. Отмолчавшись, он к вечеру напился, сорвал со стены Казанскую икону, люто изрубил топором, а щепы выбросил в общественную барачную уборную. Ночью Петровна, вместе с верующей соседкой, достали что смогли, отмыли и схоронили. А танкист её с тех пор пошёл в

полный разнос. Пить стал каждый день, матерно богохульствовал, приноровился рукоприкладствовать. Соседи его, контуженного, боялись, но всё же ей донесли, что связался он с одной самогонщицей и собирается уйти. Не имея больше ни надежд, ни терпения, Петровна пожаловалась участковому, и мужа забрали на пятнадцать суток. А ей вдруг так разом поплошало, что едва до больницы добралась. И там родила семимесячного сына. Но ребёночек оказался жизненным, молока у ней даже в одной груди хватало, так что через неделю она вернулась в барак, а ещё через неделю появился и отец.

Была уже ночь, когда он сшиб лёгонький крючок и нараскоряку встал в дверях. Петровна, прижав сына, упала на колени и стала в голос молиться. Муж орал, матерился до какого-то совсем звериного рыка, но не входил. Вдруг махнул рукой – ну сейчас я тебя! – и исчез. Она стала быстро-быстро собирать детские вещи и тряпки, но не успела. Из окна увидела, как он, сильно качаясь, шёл с кладбища и нёс на спине тяжёлый, вырванный из могилы старинный деревянный крест. Окно-то, почитай, вровень с землёй было, ниже пояса. У неё чуть ребёнок не выпал. Муж косо зыркнул сквозь стекло своим обожжено-безресничным взглядом. Да нет! Не своим, не человеческим – слишком сверкнули белки из темноты, и решёно весело пообещал: «Щас я тебя, богомолку, распинать буду»!

Она читала наизусть кафизму за кафизмой, а он ломился с крестом в двери. Она прижимала к груди младенца, а он всё никак не проходил в проём. И как-то слабел, сникал на глазах. Потом вдруг замер, мягко прополз вниз по косяку, и заснул. Она медленно-медленно приблизилась, перешагнула через раскинувшееся тело и убежала. А на следующий день уже давала показания. Оказывается, участковый сранья зашёл к ним узнать, всё ли в порядке, но танкист бросился на него с топором и был застрелен.

...Её Коленька рос очень послушным сыном. Даже не помнится, чтобы когда капризничал. Разве что если температурил. Всегда, как мамка скажет, так и делал. Закончил одиннадцать, поступил в институт. Не пил, не курил, занимался спортом, и вообще не вызывал ни хлопот, ни беспокойства. Вечерами подрабатывал на разгрузке хлеба в пекарне. Взрослый, самостоятельный. И тогда она вернулась в село на родину, оставив ему свою комнату в коммуналке. Вернулась, конечно, не просто так. Перед этим был разговор с батюшкой.

Прикладбищенскую церковь к тому времени уже закрыли и сожгли. На её месте стояла стеклянная пивнушка, а само кладбище превратили в весёлый парк с качелями и танцами на костях. Петровна окормлялась в кафедральном соборе у старенького отца Нифонта. Вот он однажды вызвал её к себе на дом и сказал, что пора ей возвратиться в деревню. «Да как же я без церкви-то буду?» – ахнула она. «А ты туда и поедешь приход зачинать. Это твоя судьба». Не перечить же такому благословию. Тем более, что духовник уже на ладан дышал, последние деньки отсчитывал.

Посёлок за время её отсутствия изменился прямо до неузнаваемости. Он вырос в десять раз, обзавёлся асфальтированным двухэтажным центром с большими клубом, универмагом и райкомом партии. Петровна прикупила на окраине хорошенький домик, весь заросший берёзками и рябинками, с голубыми, как мечталось, ставнями. Устроилась кладовщицей на кирзавод. Через два года написала сыну, что опять выходит замуж за серьёзного пожилого вдовца. Но сын даже не успел приехать с ним познакомиться. В тот вечер, как её новый супруг, уже пенсионер, пошёл на дежурство сторожить школу, она прибралась, и приготовилась прочесть «на сон грядущим». Пошла на кухню за спичками, вернулась – а свеча-то горит! Сама зажглась. Господи помилуй! А утром прибежали и сообщили: у мужа сердце остановилось. Господи помилуй. После этого она окончательно смирилась с одинокой бабской долей. Хватит Бога гневить, да и людей смешить. Мало ли её ровней после войны вот так и живут? А может, тогда впервые и мелькнуло насчёт монашества?

Годочки улетают, а болячки лепятся. Сын женился, да выбрал неудачно. Попалась ему эта мымра, ленивая, аж вспоминать тошно. Позарился на красоту, вот и стирал сам, и готовил, и полы мыл. А она ему дочку родила кое-как и совсем после этого разлеглась. Петровна съездила пару раз, поругалась со снохой и затосковала: сынок такой худющий стал, слов нет. И всё только свою царицу оправдывает. Что тут делать? Как сына спасти? Сноху ли выгнать, его ли забрать? Петровна от своих мыслей в больницу слегла. А тут один знакомый верующий мужичок, Гена-

аккумуляторщик, позвал в компанию на его машине поехать в Мариинск, к одному монашку, Иову-прозорливому. Слышала она, что монашек тот с детства не ходячъ был, ножки у него не выросли. Но его даром прозорливости вся Сибирь православная пользовалась. Никто от советов не раскаивался. Вот и забралась Петровна в битком набитый старый «Москвичок», стиснулась, поехала. Пока добирались, чуть все не переругались: кому больше всех надо. Всяк чужие беды руками разводил, а свои до гор возводил. Но на месте все разом присмирели: страшно-то вперёд заглядывать. Может... может, зря и приехали.

Петровна проскочила в тёмную низкую, заваленную какими-то мешками и тряпками комнату сразу за Геннадием. Весь передний угол перед зажженной лампадой был увешан и уставлен большими и малыми иконами. Под иконами стоял деревянный топчанчик, покрытый множеством плетёных дорожек и круглых ковриков. Очень громко «чавкали» ходики. Монашек лежал на боку, в аккуратном подрясничке, опоясанный ремешком, в руках желтели бусинки костяных чётков. Лицо круглое, белое-белое, без бороды. Он только взглянул на Петровну и прошептал: «Сиди дома. Никуда не ездй». И ручкой махнул. Прислуживающая тут бабка стала кулаком выталкивать Петровну в притвор. Та так оторопела, что сразу и не обиделась: двое суток трястись, бензин нюхать, чтобы тут вот так скоренько взашей вытолкали? Рванулась, было, той бабе объяснить, кто та такая, да уже другие паломники не впустили.

Но конечно же, она съездила. Попыталась развести сына, выгнать эту наглую, ленивую тварь. И её же родной сын, её Коленька, которого она с семи месяцев в козьей шали выпарила, с ней пять лет потом не разговаривал!.. Правду монашек советовал. Вот и урок непослушания.

Послушание. Хорошо, вот благословил тогда духовник её приход открывать, а как? Люди вокруг были неподъёмные. Вроде и надо, вроде и так живём. Сколько она кругов по селу дала, сколько бесед провела, а всё ни шатко, ни валко. Махнула рукой. Погодите, поприжмёт, подпоёт мне хором. Но и самой ездить в городской собор каждый раз становилось всё труднее, разорительно, да и годы своё напоминали. Поперву конечно, все дорожные мытарства воспринимались подвигом, верилось, что за это Господь лишние грехи с весов сбросит. Но потом стало уже просто неумоготу. Тут ещё и шестой инфаркт стукнул, да не обычный микро, а какой-то обширенный. Возле койки уже и смерть с косою постояла, полыбилась. Но ушла. Слава Богу, хоть сын мириться приехал. И сам повёз её в Ложок на ключ. Святой этот ключ бил на месте массового расстрела священников в гражданскую междоусобицу. Коммунисты его потом и бульдозером засыпали, и мусором заваливали, а он всё себе дорогу находил. Так и смирились. И на этот ключ съезжались болящие со всех окрестностей. Молились, купались. Было много исцелений. Бывали и видения. Вот и она тоже тогда сподобилась: стояла отдельно от всех над водой, молилась, и вдруг увидела, словно на дне лежащую, икону. А на той иконе святых видимо-невидимо. Собор.

Приход зарегистрировали через год. С Генной напару вдруг как-то легко собрали подписи. Власти, было, стали кочевряжиться, так она смело, аж сейчас дух захватывает, махнула прямо в Москву. Потом опять штурмовала исполком. И раем манила, и адом пугала, и льстила, и смешила. Они её даже милицией два раза выставляли. Стерпела всё. Потом принесла все свои больничные справки и пообещала умереть голодом в приёмной. Сдались! Поняли, с кем дело имеют.

Первую литургию присланный из города иеромонах служил прямо у неё на квартире. Вот радость-то была, вот счастье! Человек тридцать вбилось, не продохнуть. Батюшка, красивый такой, в блестящих ризах, с кадилом вокруг печи едва проходит, Петровна с Геннадием хором поют. И слёзы, и улыбки. Ей миром в пояс кланялись, благодарили... И иеромонах хорош оказался. Спасибо владыке, прислал то, что надобно. Он и к службе ревнив, и мастеровой на все руки. И с людьми общение наладить умеет. С ним теперь и храм вот поставили: перестроили брошенный шлаколитой дом, приделали алтарь, даже куполок получился. Заборчик обновили. Вот и архиерея с иподьяконами есть где завтра встречать. Есть и чем.... Только, как бы батюшкино благословение на прошение ко владыке получить? Непросто это будет. Ох, непросто. И всё характер её поганый. Зачем она, как староста, ему на днях сгоряча велела чемоданы собирать? Опять же, и он тоже упёрся! Петровна ясно сказала: кто на кассе сидеть будет, а кто полы мыть. А он по-своему всех баб перераспределил. А ведь хозяйка прихода она! Так в исполкоме записано, и, если ему что не нравится, то пусть уезжает. Епархия ей другого пришлёт!.. Господи помилуй, зачем Петровна это ему лягнула?.. Ох, как он на неё тогда посмотрел. Ровно булавками проткнул. И кабы она в первый раз ему такое сморозила...

Самым ранним, туманно-розовым утром, бледная от бессонной ночи Петровна боком-боком подбиралась к батюшке. Тот словно что чувствовал, так и уходил от беседы. То в алтарь занырнёт, то, выскочив через пономарскую дверь, по двору пулей пробежит, какой-то мусор спрячет. И ровно не слышит её зова. Но она его всё-таки прижала на солее:

- Батюшка, прости ради Бога, мне бы с тобой пошептаться.

- ...?

- Посоветоваться. Ну, и покаяться.

- Кайся здесь. Что? Опять курицу набила?

- Да?! Знаешь уже? Набила, виновата. Так ведь ей уже четырнадцать лет, давно не несётся, а на огород каждый день нападает. Замучилась ей по-хорошему говорить И привязывала, и за решётку прятала. Нет, развяжется, вылезет, окаянная, и сразу же на грядки. Сил больше нету.

- Так заруби.

- Да как же? Жалко, привыкла к ней, ровно к родной. Столько лет вместе. Так что, прости грех, опять её побила. Грешная я, грешная.

- Ты мне зубы не заговаривай, – Петровна дугой согнулась, лицом в пол – она до холода в спине боялась этих его маленьких буравчатых глазок. Верно говорят, что их батюшка тоже с прозорливством, тоже монах ведь, – А про то, что опять Маргаритиному младенцу грыжу загрызала, молчать будешь?

- Проболтались? Это я в последний раз. Ей, Богу, в последний!

- Опять «в последний». Ничего не боишься. Сколько уже говорено-переговорено. Доколдуешь. Ну, и чего ты ещё опять надумала? Или кто подбивает?

- Ой, батюшка, родной, подбивает! Разве ж я сама бы решилась?

- Говори поскорей, некогда. Пора службу начинать, а я не готов с тобой.

- Отец родной, благослови, как владыко подъедет, прошение поднести. Я хочу у его просить...

- А ты с чего взяла, что он подъедет? – Он не просто перебил, а попытался опять в алтарь скрыться. Но Петровна вцепилась в рукав, держала крепко:

- Так ты же сам сказал!

- Он и на той неделе обещал. А сам мимо промчался.

- Прости, так то я была виновата. У меня же тесто не подошло. Вот я и стала ночью на молитву. Прочитала Богородице акафист и канон, ну и коленноприклонно попросила, чтоб владыку мимо пронесло. Мать Божья! Чем бы мы его угощали? Опозорились бы только.

- Ну вот! Тут, понимаешь, народ собрался. С работы поотпросились. Детей с цветами привели. Даже начальство под парами машины держало. Как-никак правящий архиерей! Событие для медведей наших. А он – мимо! Все на него обиделись, а, оказывается, это всё ты! – Священник неожиданно вырвал рукав и заступил в алтарь, прихлопнув дверкой перед её носом.

- Отец родной! – в голос запричитала Петровна, уткнулась губами в ноги архангела Гавриила, – прости меня окаянную! Но чем бы мы его давеча угощали? А теперь всё готово, всё! И карпа запекли, и два пирога отпариваются, и арбуз в холодильнике! Батюшка, так как же мне? Подавать прошение? Подавать, али нет?! А?! А?!

И вдруг из-за тонкой дверочки, тихо-тихо:

- Что ты от него хочешь?

- О монашестве просить. – Так же шёпотом прислонилась с этой стороны Петровна.

- Ты постричься хочешь?

- Хочу. Хочу, родной.

- Так я тебя сам подстригу.

- Сам? Отец ты мой! Спаси ты, Господи! Точно обещаешь?

- Обещаю.

Петровна чуть на одной ножке не завертелась:

- Родной ты мой! Бог свидетель! А когда, когда?

Пауза затянулась до тоски в животе. Она терпела. Тут уже явно испытывали на смирение. Это уже почти по-монашески. Ничего, ничего. Не такое вытерпливали, было бы ради чего.

Наконец батюшка вышел со свечой, зажѣг приспущенную над царскими воротами лампадку. Он уже успел облачиться, так что скоро и возглас подаст. Всѣ, служба. А она? Как же она?

Тот опять открыл алтарную дверцу и, не глядя, через плечо буркнул:

- Что стоишь? Ступай на клирос. Сказал же – постригу. За полчаса до смерти.

ОБИДА

Навстречу, снизу вверх по Андреевскому спуску поднимались весело галдящие и смеющиеся группы туристов. Весенний Киев щедро принимал и чаровал своих гостей буйным майским цветением. Днѣм в солнечно радостном воздухе запахи отцветающей сирени свивались с ароматом раскрывающихся роз, а ночью повсюду царил густой дух акации. Это только вспомнить: Андреевский спуск, Киев и май. Любимая пора в любимом месте любимого города. Южная весна пышно сияла избытком радости повсюду: на свежей нежной ещѣ зелени лип и орешника, в вымытых субботником витринах, в сплошь распахнутых солнцу и небу окнах и на свежеокрашенных скамейках, с замершими в предчувствии скорого чудесного молодыми и пожилыми парами. Ах, как бы эта двадцать четвёртая весна окрыляла и вдохновляла этими самыми ожиданиями Павла! Если бы не бы... Но, его будущее как раз и было поставлено нынче под очень большое сомнение.

Разговор со следователем продолжался больше шести часов. Вначале, пока он нервничал, пытался оправдываться и призывал к здравому смыслу, не старый, но уже какой-то потѣртый, маленький капитан легко подлавливал его на оговорках, неточностях, много писал, нагло домышляя и заставляя принимать эти домыслы за собственное Павла признание. А когда первый страх и растерянность прошли, допрос стал скатываться в примитивное надругательство. Всѣ больше теряя тон абсолютного ведущего, следователь стал нахраписто давить, щедро используя ненормативную лексику и блатной жаргон, пытаясь придавить, сбить в грязь слишком вежливого подозреваемого. Но этим он только окончательно потерял контроль над просто замкнувшимся Павлом. На минуту, меняя тактику, вернулся, было, к артистично вкрадчивым уговорам. Однако, поняв, что превосходства уже не вернуть, начал свирепеть всерьѣз. Напрягшись до сизости и потев широко открытыми порами алкоголика, он то орал, брызгаясь слюной, то шипел, в подробных картинках расписывая, что в камерах делают урки с молоденькими, хорошенькими арестантами, да тем более, обвиняемыми по сто-семнадцатой. А потом так же подробно фантазировал на тему того, что переживут его мать и жена, когда в суде будут зачитываться все мелочи совершѣнного им преступления. Посадив голос, выпил залпом полный стакан. Утѣрся несвежим платком, и стал долго и отвлечѣнно говорить в окно о проблемах воспитания советской молодѣжи, о промахах комсомола, который не смог разглядеть в своих рядах патологического извращенца. Удовлетворѣнно опустошенный своим живописным монологом, следователь вдруг ушѣл, оставив Павла на два часа прикованным наручниками к батарее. Вернулся сильно пахнущий свежее съеденной котлетой с луком. Сыто, не спеша, закурил, и начал раскручивать спектакль снова, откровенно забавляясь, как у допрашиваемого унижительно течѣт голодная слюна.

У «допрашиваемого»? Нет, у убеждаемого. У тупо и примитивно заставляемого признаться в том, что он не только не совершал, но и представить себе никогда бы не смог. Да что там говорить! Бред. Полный бред. Павел с трудом верил в реальность происходящего, и происходящего именно с ним и сейчас. А ведь на дворе не тридцатые, а восьмидесятые годы. И Андропова схоронили. И Черненко... Но, кажется, тут, в этой выкрашенной ужасной синей краской ментовской конуре, словно произошѣл некий фантастический провал во времени. Обшарпанный стол со стопкой серых папок, древняя пишущая машинка, толстые крашенные-перекрашенные решѣтки за пыльными стѣклами. Плакат чуть ли не с тех «самых» времѣн с призывом «Бди»!.. Не здесь ли и деда допрашивали? Только следователь, наверное, был не в жѣлтых вельветовых брюках, а в галифе с кожаной изнанкой. Но курил, поди, также без перерыва:

- Значит, гражданин Иванов, вы продолжаете запираться и отрицаете совершѣнную вами попытку изнасилования несовершеннолетней ученицы девятого класса Лилии Зайчук? Своей

ученицы? Что ж, прискорбно. Не хочу более взывать к вашей совести – у таких, как вы, извергов, её просто нет. Но я надеюсь, что ваша молодая жена, которая сейчас даёт показания в соседнем кабинете, сделает правильные выводы. У неё ещё вся жизнь впереди.

Павел, конечно же, дёрнулся. Но, поймав тончайшую самодовольную усмешку, оценившую это его дёрганье, понял что и это тоже чушь. Пугают. Просто пугают. Ведь, если бы всё было ими уже связано, то его сегодняшнее признание так бы не выколачивалось. Столько стараний, вон, аж весь графин выпил. И пепельницу два раза вываливал. Действительно, а почему им было не сунуть его просто в камеру? На обработку уголовникам? – Павел спросил сам себя, и опять содрогнулся от страха. Там-то действительно могут выдать любое признание. Нет, не надо загадывать, не надо ничего загадывать. Всё. Тихо. Успокоиться. На всё воля Божья. Да, да, на всё воля Божья. Кто ему может помешать молча, незаметно молиться? Даже здесь. Не выслушивать же эти гнусности. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Помилуй мя. Помилуй, Господи!» Голос следователя словно отдалялся, становясь не то, чтобы тише, а просто теряя рычащую агрессивность, в нём даже стали проскальзывать просительные нотки. Что-то всё-таки во всей этой ситуации было не настоящее. Но что? От чего оттолкнуться, чтобы понять фальшь угроз? Ведь нет никакого опыта общения с милицией. Никогда и ни в чём с ней не сталкивался. Люди ли это, вообще, или нет? «Господи помилуй, помилуй мя, Господи!» Есть ли здесь что-то человеческое? Господи!

- Ладно, Иванов, надоело мне всё до чёртиков. Ведь ситуация настолько ясная, что будь ты в наших только руках, я бы давно тебя зачеркнул. Одним росчерком вот этого пера. Такую мелочь, как ты, просто никто бы в расчёт не брал. Будто нечем больше заняться.

Павел как очнулся. А вот эти слова могли бы подсказать направление разгадки всему случившемуся! Значит, действительно, не всё у следователя так просто, как бы хотелось. Что-то, значит, мешало машине «советского правосудия» заработать на полную мощность. И она что-то не могла вот так взять и запросто утянуть его в свою страшную зубчатую утробу, а только угрожающе яро клацала у самого лица, словно овчарка на цепи. Что же мешало?

- Нам, милиции, таких гадёнышей одно удовольствие давить. Но, мало того, что ты извращенец, так ты ещё и с блатом. Что? Не удивляешься? Да ты только поэтому и запирался, что сразу уверен был: тебя твой папаша через «смежников» покроет. Да. Если бы не ГБ, ты бы у меня уже рыдал, проклиная час своего рождения. Ух, как я вас, тварей, ненавижу.

Отец! Всё что дальше брызгал в лицо следователь теперь уже не имело никакого смысла. Все оскорбления, все его самые мерзкие домыслы теперь потеряли свою громохочущую силу и осыпались, не успевая долететь до сознания. Главное: мать успела, смогла всё же дозвониться отцу в Москву! Да, значит, она всё-таки нашла, смогла заставить себя найти новый отцов телефон, и сообщила о нависшей над Павлом беде. А отец....

Развод родителей в своё время был страшным для него потрясением, вызвал, да и продолжал вызывать горькое недопонимание случившегося. Но без желания искать виновного, обязательно принимая чью либо сторону. Просто матери одной было бы труднее, вот Павел и остался в Киеве. А не потому, что она была ни в чём не виновата. Была-не-была, но и что? Он просто продолжал любить её, как и отца. С собственным взглядом на их отношения.

Отца Павел не видел после десятого класса, после своей последней поездки в белокаменную. В то лето, перед поступлением в университет, отец как всегда вызвал его «приодеться». Опять предлагал перебраться к нему, сдавать документы в МГИМО, «где он бы помог, тем более, что у сына золотая медаль». Но Павел ничего не слушал, даже не желая представить, как можно оставить мать.

Дальше пошли протокольные прощания. Он подписал отказ подписать протокол допроса и подписку о невыезде. Вытерпел последние капли слюны в лицо и, растирая запястья, наконец-то вышел на свободу. Свободу! Действительно, в первые мгновенья это состояние избавления от тусклых давящих стен опьянило, скружило голову, так, что пришлось придерживаться о скамейку. Но, потом, когда запах чужого дешёвого табака и собственного кислого страха стал выжигаться из пиджака солнечной пылью, радость свободы стала сменяться обидой. Обидой на всех и на некоторых конкретно. Он позвонил из автомата матери, но трубку никто не поднимал. И Павел пешком пошагал к себе, оттягивая жуткий по мерзости и безумию разговор с Ириной. Бедная, что она, наверное, сегодня перенесла. От всплывшего в памяти лица следователя затошнило. Вот

мразь! Садист. Неужели, он, такой протёртый профессионал, и не видел, что вся эта история сшита белыми нитками? Одно это заявление «пострадавшей» чего стоило?.. А, вот! Вот где главная боль! Главная обида....

Когда во всём преуспевающий Павел на четвёртом курсе особым решением ректората стал сразу студентом двух факультетов университета, он неожиданно близко сошелся с одноклассником Сергеем, учёба которого как раз всегда шла под большим вопросом. Насколько помнится, с первого курса Сергей хронически отсутствовал на лекциях, хвосты за ним висели километровые, а в общежитии его пребывание постоянно сопровождалось какими-то разбирательствами и объяснительными. Но! Он был чемпионом. Чемпионом сначала студенческой универсиады, потом Киева, потом Украины. Побывал Сергей членом сборной республики, а в юношеской сборной СССР даже стал «серебряным» Европы. Это только представить: чемпион по фехтованию! С восемнадцати лет – мастер спорта. Что там дивчины, парубки в нём души не чаяли. Метр девяносто рост, чуб в кольцах, усы. Казак! То есть, почти казак, - так как москаль. И тоже Иванов. Но, всё равно, ему до поры многое прощалось. До самой травмы. После которой вдруг все узнали, что он даже не комсомолец. Да и вообще, оказалось, что он слишком долго пользовался добротой педагогов и терпимостью товарищей, которые этим только его портили, а сейчас пришло время кончать с этой «батьковщиной и анархией». Разрыв мениска стал для Сергея прежде всего испытанием характера. Теперь нужно было браться за учёбу, и вести себя подобающе званию советского студента, представителя передового отряда строителей коммунизма. Вот в это время они и сошлись. Сергей с упорностью настоящего лидера навёрстывал упущенное. Зачёты, экзамены, зачеты. Курсовые, лабораторные. И ещё как-то находил время на чтение.

Чтение-то их и свело. Но свело, естественно, на турнирном подиуме. Павел коллекционировал тогда математические модели Вселенной, специально для этого английский зубрил, и только успевал объявлять себя приверженцем то одной, то другой теории. Память позволяла цитировать десятки страниц логических, и не очень, выкладок. Оставалось только напористо излагать, убеждая слушателей объёмами фонтанирующей информации. Сергей же не только никогда не поддавался, но всякий раз умудрялся разрушать Павлову убеждённость. Споры с ним происходили по правилам рапирной дуэли: зрители даже не успевали следить за сверканием логических защит и каверзных выпадов, как вдруг кто-то из спорщиков вдруг замирал, поражённый точным уколом. Причём, Сергей в таких случаях уходил зализывать раны и уносил вопрос с собой, никогда не оставляя его без ответа. Даже по большому истечению времени он возвращался к прерванной теме. Павлу же было легче умереть, а потом фениксом возродиться в новом качестве, с новой теоретической наполненностью: что, не сработало убеждение? Ну и не надо, вот – есть ещё одна модель зарождения мира. И ещё. И ещё. Всё равно, сколько их, и какие они: логика – это только игра образованного ума. Просто игра, за которой нет серьёзных ставок. А Коперник? А Галилей?.. Первой на это ему указала Ирина. Они тогда только-только расписались, переехали в свою собственную, самую уютную в мире комнатку в коридорной коммуналке и были безмерно счастливы. Ира боготворила его, эхом повторяла все его умные фразы, и, следовательно, не могла просто придирается. Павел вспыхнул, задумался, и ... сдался на милость победителя. В ответ Сергей подарил ему Евангелие. Евангелие было в мягкой, синей обложке, напечатано на тончайшей папиросной бумаге в Финляндии, на русском языке.

С первых страниц Павел и Ирина приняли повествуемое как непреложность. Как Истину. В каждой строке, в каждом слове потрясало всё, но больше всего – личность самого Иисуса. Жизнь Спасителя. Его поучения и поступки прочитывались как ответы на великое множество давно, почему-то тайно, смутно, но неотвратимо мучивших их вопросов. Они читали Евангелие по вечерам, и то и дело прерывались, радостно перебивая друг друга, так как в памяти вдруг всплывали самые разные ситуации, объяснение которых становилось возможным только теперь. Весь окружающий мир из разнородного, перемешанного хаоса стал прямо на глазах складываться в единую, сверкающую бесконечным разнообразием, но действительно единую мозаичную картину. Отдельные, фрагментальные стяжки причинно-следственных связей разрозненных фактов вдруг пронизывались сплошными линиями уходящих в исток мироздания нравственных закономерностей. От этого жизнь всей Вселенной, как и жизнь любого муравья, обретала себе незыблемое основание в понятии «справедливость». Как это относилось к математике и физике? –

Справедливость обосновывала мир, давала векторность течению любых жизненных проявлений, включая второй закон термодинамики. Существование материи и разума объединялись теперь не через зыбкую, зависящую только от самой себя «целесообразность», а именно через «справедливость», изначально вечную «справедливость»! С каждой главой евангельская личность Иисуса переворачивала и сметала за ненужностью все авторитеты и философские школы. Просто все частные «логики» бледнели и умирали перед познаваемым «Логосом», как звёзды при восходе солнца. Ночная интуиция обретала плотность, цвет и фактуру Завета. И отсюда уже стало не нужным закрывать глаза на необъяснимые, «незаконные» явления. Любое описание чуда теперь настолько было внутри миропорядка, что даже становилось непонятным: как же вообще возможно жить без этих справедливых исцелений, чудес и И ещё чтение сопровождалось реальным ощущением света и тепла.

Именно это Евангелие Павел дал почитать Лиле Зинчук.... После университета Павел не остался, хотя его профессора чуть ли не хором уговаривали, в аспирантуре, а пошёл преподавать в школу. У него было непоколебимо твёрдое убеждение всякого начинающего христианина о вреде науки, искусства и медицины. И о необходимости немедленного просвещения всех детей светом Истины. Конечно, прямо говорить о Боге в школе было безумием. Хотя в республике, в отличие от России, за ношение крестиков и поедание крашеных яиц и куличей на Пасху не гоняли. Да что уж там! Во всех храмах по ночам то и дело совершались крещения и венчания, на которые подъезжали «волги» с правительственными номерами. Но, всё равно, в школе о Боге говорить было нельзя.

На первые полгода Павел придумал себе игру, которая помогала ему легко усваивать самые тупые правила поведения среднего советского преподавателя средней советской школы. Павел стал Штирлицем. В учительской побаиваться его начали сразу: с чего бы это столь блестящий выпускник университета, одновременно защитивший два диплома, и вот – простой учитель? Что, пришёл на место директора? Или отсюда – и сразу «туда»? Птица явного не их полёта. Такая, пожалуй, и до середины Днепра долетит. Коллеги дружно нервничали – слишком уж новичок «правильный», избавиться бы, от греха подальше. Но всё никак не могли найти повода придраться, теряясь в его уступчивости и готовности услужить любой просьбе. Поэтому их сложившаяся временная консолидация дала скорую трещину, и по одному, по одному, они начали потихоньку перебегать на его сторону. В учительской стало возможно дышать.

А вот ученики, похоже, Павлову игру расшифровали сходу. И ответили не просто любовью к разгаданному «своему», но сразу вступили в его «подполье». Буквально через несколько дней Павел уже знал все, даже самые занозные клички каждого преподавателя, их послушной список, интеллектуальный уровень, а также увлечения и тайные и явные пороки. Причём сведения доставлялись на строго добровольной основе. Агенты были даже в тех классах, где он ничего не преподавал. Имея такой банк данных, можно было переходить к следующему этапу. Первыми от его идеологических диверсий пострадали биологиня и естествоведша. Дарвин просто сгорел бы от стыда, услышав он такую критику своего учения. Потом на смех стали поднимать советского историка и обществоведа, то есть, самого директора. Директор запаниковал. Похоже, что ученики ни с того, ни с сего стали читать учебники. И не только учебники. Обрюзгший любитель сала, борща и пива даже аппетит потерял: откуда бы такое внимание к ленинскому учению? Нужно было срочно сообщить «куда следует». А после того, как в мальчишеском туалете было довольно талантливо нарисована постепенная эволюция человека из обезьяны с промежуточными этапами в виде Маркса, Энгельса и Ленина, в школе было проведено расширенное партийно-комсомольское собрание педагогического состава с присутствием «товарища» из райкома.

Рисунок стал явным перебором в средствах народного протеста, нужно было тормозить и срочно ложиться на дно. Но Павел уже не мог остановиться. Вернее, не мог остановить всю развернувшихся подростков, почувствовавших удовольствие от отколупывания глины из ног колосса. После скоростной смены трёх правителей, молодёжь нездорово развеселилась, и азарт безусой безнаказанности распространялся как эпидемия. Кто бы из них представлял, насколько глубоко может быть эшелонирована система партийного самосохранения.

Младших детей по одному допрашивали в классах и дома. Их ласкали, запугивали, опять ласкали. А подростков вдруг активно стали «застукивать» за курением или фарцовкой, выводить в спортзал и предлагать честный мен: прощение за информацию. Задействован был весь педсостав,

поэтому рано или поздно, но всё равно бы открылось. И дело было бы не в предательстве. Павел познал ещё одну педагогическую тонкость: малышня чётко чувствовала свою принципиальную отделённость от мира «больших», поэтому устанавливала собственные законы и авторитеты в полной независимости от учительской. Это был совершенно самодостаточный мир «в себе». Опасность исходила не отсюда. Ведь, если младшим было достаточно гордиться настоящей историей своей Родины, настоящими былинными предками и героями, то старшеклассники уже искали не внешних авторитетов, а сути, смысла происходящего. Подростки уже вплотную стояли перед взрослой жизнью, примеряясь к ней. Подстрекаемые процессами созревающего тела, они страстно и, одновременно, пугливо хотели как-то, пока сами не зная как, войти в неё. Но руки росли, а мысли запаздывали. И в мучивших их вопросах было больше не восторга далёкой истиной, а злорадства над ближней ложью. Зачастую это злорадство и становилось основной темой бесед со «своим» педагогом. А он поддавался. И кто бы подсказал, что именно подростки не смогут удержать молчание? По неопытности они не умели пользоваться временем, не умели терпеть. По неопытности? Да самому-то Павлу было всего-навсего....

Своё Евангелие Павел дал почитать Лиле. Она и её подруга Оксана сами напросились на ту беседу. Девчонки сходили в Лавру, - то есть в Лавру каждый киевлянин ходил и, конечно, не раз, - как только приезжали какие-нибудь иногородние гости. Но тут они впервые пошли туда одни и с новыми мыслями. А вернулись с ещё более новыми. Девочки, не вступая в экскурсии, спускавшиеся с дурацкими шуточками и опасливыми хохотушками в пещеры, побродили по территории монастыря, посидели немного в тёмном прохладном храме, вслушиваясь в молитву. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, они не увидели там одних только стариков и идиотов. Среди поющих, крестящихся и кланяющихся мужчин и женщин, конечно же, стояло много станичных и хуторных. Большинство были пенсионеры. Но, была и молодёжь, были и просто взрослые люди с умными светлыми лицами....

Павел был единственный, с кем школьницы могли поделиться этим своим открытием. Разговор состоялся прямо в классе, после занятий. На следующий день подруги провожали учителя до дома, ещё через день провожающих был десяток. Шли медленно, непривычно молчаливо слушали, строго в очередь задавая вопросы. Но, пересказывая ребятам евангельские истории и притчи, Павел вдруг остро понял, физически ощутил, что никак не может передать им то удивительное состояние сердечной радости, какое испытывал сам при чтении. Все те же слова – при его-то математической памяти! – в его устах становились легковесными, необязательными. Они не несли в себе силовой наполненности прямого прочтения. И от этого сюжеты приобретали ненужную эпичность, отстранённую сказочность. Пересказ Истины не животворил, а только насыщал любопытство.

Отец Лили был замполит Подольного РОВД. Относительно молодой подполковник, он ещё успевал до пенсии неплохо подняться по служебной лестнице. В Главке служили сокурсники по Академии Дзержинского, были и просто обязанные по жизни. В общем, заточено. Не было пока только вакансии. Но и она тютельку намечалась. Его предупредили, что «кандидатуру уже рассматривали, и она предварительно утверждена». От него и «просили-то» всего-навсего немного потерпеть, не попасть ни в какую историю. Поэтому, когда он нашёл у дочери «подрывную литературу» зарубежного производства и явно доставленную в СССР контрабандой, у него, стодеятикилограммового бывшего борца, впервые стало плохо с сердцем. Конечно, лучшим вариантом было бы просто всё уничтожить и забыть. Но подполковник, со страху за карьеру, с киевско-милицейским простодушием ломанулся выдавливать из дочери чистосердечное признание. И не смог. Лиля, испугавшись его напора, истерически рыдала, но не признавалась, откуда у неё «та гадость». На вопли разъярённого мужа и визг дочери прибежала жена. Заведующая отделением в продмаге, - в общем, психолог, - она разом приказала всем молчать, и в наступившей тишине всё само объяснилось. Неужели трудно было обойтись без ора? Лиля, получив обещание не дать никого в обиду, со слезами рассказала маме про учителя и про Евангелие. Девочку отпоили валерианой, помыли и положили спать. Дальше супругами на кухне решалась несложная задача: либо их дочь раскручивается «смежниками» как участница антисоветской организации, - и тогда папина карьера партработника в органах МВД получает

скорый и печальный финал, либо это дело становится чисто уголовным, - и муж пропускает его по своим каналам без лишнего внимания в Главке. Может, так и пронесёт.

Заявление от имени дочери мама написала тут же на кухне. Их дочери были похожи....

В коридоре стояли раздутая сумка и чемодан. Мать и Ира всё уже про него решили: Павел немедленно едет к отцу. В Москве его никто не тронет. Милые. Любимые его женщины, всё-всё понимающие. Нисколько в нём не сомневающиеся. Они обе разом согласны пожертвовать своим единственным, ещё не до конца поделенным мужчиной, лишь бы «у него всё хорошо». А там время покажет: может Павлик вернётся, а, может, Ира начнёт менять комнату. С работой? А пусть увольняют! С его дипломами он и с «33-ей» найдёт себе место. Не все же идиоты, кому-нибудь и специалисты нужны. Милые. Но у Павла было иное предложение: да, ему нужно ехать, и немедленно, но не так далеко.

Год назад Сергей познакомил Павла со своим троюродным или четвероюродным дядей по матери, отцом Николаем, слжившим настоятелем Троицкого храма в ****, ближнем пригороде южного Киева. Старый священник и фамилию имел соответствующую – Поп. Николай Филиппович Поп. Отец Николай смеялся: «В семинарии всех по фамилиям, а меня вот только по имени-отчеству всегда к доске вызывали». Родом он был западонец, чуть ли не односельчанин Степана Бандеры. И больше всего на свете не любил своих землячков. Очень уж рано остался он сиротой и в досталь хлебнул батрачества у своих рачительных соседей. Он – десятилетний хлопец, да мать – оказались кормильцами ещё троих малышей. Работали от зари до зари за хлеб и тряпье. Но и эта работа была только летом да осенью. Лютыми зимними ночами они с матерью лежали по краям рубленной ещё батькой дощатой кровати, собой согревая зарывающихся в солому спящих малявок и ждали, ждали весны. На первую травку выходили чёрными, как головёшки, и качаемые ветром. Один раз, чтобы утешить плачущую сестрёнку, он тайком изловил и подоил чужую козу. Доил, а сам плакал от голода и страха: а что, «як Бог побачит». Но побачил хозяин. Избивали не только его, но и малышку. Потом, после присоединения Западных областей к СССР, они перебрались под Киев, и словно попали в иной мир, населённый людьми, не только постоянно к месту и не к месту поминавших Христа, но и помнящих его призыв к милостыни. Вроде те же хохлы, те же украинцы, но ... христиане. Только среди этих, совершенно до того незнакомых людей, вдруг раскрылось, стало в яви понятным, что Бог воистину есть любовь. Бескорыстная, жалостливая любовь к ним – вдовицам и сиротам. Отец Николай никогда после «принципово» даже не хотел «размовляться на украинской мове», и постоянным рефреном бурчал, что «зря не утикал в Россию», когда его туда звали. Сергей и Павел ездили к отцу Николаю в лето несколько раз, обычно на субботу-воскресенье. Церковь середины девятнадцатого века была классикой «украинского барокко». Можно было часами ходить по высоко выгороженному белёным кирпичным забором двору и рассматривать узорочье белого же пятиглавого храма. На восходе или закате маленькие золотые куполки переливались всеми своими ребристыми плечиками, а сквозные кресты казались возносящимся плазменным сиянием, с трудом удерживаемым на земле цепями. Ребята, вместе с другими приезжающими с Киева, работали на церковном огороде, потом, когда начался ремонт, помогали ставить леса, красили крышу, меняли стоки. Вместе с другими учились молиться, в очередь читать шестопсалмие и даже петь на клиросе. Там Павла крестили, впервые исповедали. И с Ириной повенчали.

Туда он сейчас и поехал. Только там должны были всё понять и что-то посоветовать. И пожалеть. Именно этого сейчас хотелось больше всего. Хотелось перестать быть всезнающим учителем и способным на сопротивление борцом, а просто сжаться, скрючиться, ткнуться лицом в чью-нибудь жилетку и поскулить. Нет, не в чью-нибудь, а конкретно отца Николая. Ибо давно, после самой первой же своей, удивительно доверительной беседы с этим батюшкой, понял, почему такой герой, человек-гора и непоколебимый бульдозер Сергей рядом с этим пожилым сухоньким священником кажется значительно меньше ростом. Отец Николай позвал Павла к себе в дом, по крутой тёмной лестнице провёл на второй этаж в гостиную с большим лимонным деревом в кадке и целым углом икон, усадил в неудобное жёсткое кресло. Им принесли чай в высоких стаканах со старинными подстаканниками и печенье. Павел впервые пил чай с человеком с крестом и в подряснике, и немного стеснялся, что тот не замечает зацепившейся в своей бороде крошки. Подсказать или не подсказать? А она, как назло, всё время лезла на глаза. Конечно, у него,

тогда ещё студента и человека только что обретающего свою веру, было много вопросов к священнику. И, конечно же, не меньше было и заготовленных заранее ответов. Беседа им планировалась как взаимно познавательная. Ведь в принципе, Павел и так знал, как ему нужно жить, он просто хотел услышать ещё несколько подтверждений собственным выкладкам. Прежде всего, о чём стоило беседовать с иереем? Например, - Личность Богочеловека он принимал безоговорочно, но недоумевал: в чём смысл современной Церкви. Со всеми её утомительными сложностями и явно устаревшими ритуалами. Не мешает ли она этими своими средневековыми условностями прямому богообщению? Одно только чинопочитание чего стоит. Вот откуда берётся это безапелляционное право считать себя обязательным посредником между Богом и человеком? Павлу казалось, что от этого пора уже уходить, современная жизнь требует индивидуализации мистического опыта, и он приготовил в доказательство этому некоторые аргументы. Но, настроившись, было, заранее, на долгий и серьёзный диспут, Павел неожиданно для себя онемел, даже не успев раскрыть рот. И не менее часа оказался в роли совершенно безответного слушателя, просто спешащего запомнить всё, что ему вествовали.

Отец Николай, перекрестившись и благословив стол, вдруг погрозил Павлу пальцем: «Помолчи пока!» и стал поучать. Именно поучать. Он сходу взял точный тон «власть имеющего», тон истинного, от Бога учителя. Совершенно не признавая ни жизни, ни мыслей собеседника, он негромко, но жёстко, с первых же слов начал перечислять заготовленные вопросы и ответы. И пока он только проговаривал эти вопросы, Павел уже сам понимал их наивность и ... глупость. А заготовленные, – такие, казалось, оригинальные в своей неожиданной свежести, - ответы просто устыжали: оказывается, на подобном «умотворчестве» уже давно росло множество сект, и все его, Павла, религиозные «первооткрытия» имели тысячелетние еретические истории. Голова клонилась, уши горели, - нет, не он был тут самым умным. Совершенно не он. Гм, это вам не советскую идеологию щипать....

Вошёл Павел в кованную, крашенную зелёным калитку обнесённого высоким белоштукатуренным забором церковного двора совсем в сумерках. Солнца давно уже село, только бледно-фиолетовая туча на западе ещё подсвечивалась снизу мелкой алой рябью. Воздух повесенному лип сыростью, густо тянуло цветом старой акации. Дождь, что ли, намечается? В стоявшем в дальнем углу доме священника на втором этаже горел за розовыми шторками свет. Но идти сразу к отцу Николаю что-то не захотелось. По дороге в автобусе вдруг накатила дрёмная усталость, и всё происшедшее с ним в этот день – начиная с картинного ареста с «воронком», стало казаться нереальным. Как так: он, всегда такой благополучный, такой правильный «головастик» – и наручники, безумное мерзкое обвинение, свинтопрульный следователь? И самое главное – предательство! Такая грязная клевета. И кто? Кто оклеветал? Он же ей самое дорогое, самое ценное своё доверил. Самое сокровенное. Ведь это было его первое Евангелие. Первое.... Как же она так могла? Ну, ладно бы, в воровстве обвинили.... Предательство и обида. Обида. Да, обида стала единственной реальностью. А всё остальное бредом.... Павел толкнул дверь в сторожку: «Мир дому сему!» – «С миром принимаем», – сизо-седой, длинноволосый, очень благообразный Никодим Петрович строго посмотрел на сумки нежданного гостя, но ничего не спросил. Поставил на плитку чайник и вышел запирать ворота. Ополоснувшись в гремучем ручейнике, Павел не найдя полотенца, просто мокрыми ладонями пригладил волосы и прилёг на «гостевую» лавку поверх синего солдатского одеялка. Никодим где-то долго бродил, оглядывая и проверяя двор. И, войдя, застал припозднившегося гостя спящим. Он со вздохом выключил уже засопевший чайник и повернул самодельный из жести абажур так, чтобы свет не падал Павлу на глаза. Достал из тумбочки стёртый от долгого употребления по углам и многократно склеенный молитвослов, встал к иконам на вечернее правило. Читая, то и дело косился: понятно, что беда у человека, а иначе чего бы иначе в такое время прилетел. И лежит беспokoйно, подёргивается. Набедокурил, поди, да к батюшке за утешением. Эх, молодость, молодость. Прости, Господи, и помилуй....

Проснулся Павел рано, но сторожа уже не было. Осторожно полуоткрыв дверь, выскользнул во двор. Стоял плотный, непроглядно белый туман. Только-только собирающееся приподняться от горизонта солнце чуть желтило восток, не в силах пробиться сквозь играющую

мирадами светящихся брызг вязкую влажную завесу. Было довольно зябко. Проходя мимо дровяника, Павел чуть было не наткнулся на спящего прямо на полувыбранной поленнице монаха. Закинувшееся вверх страшно худое лицо с острой реденькой бородкой, сплетённые костистыми пальцами руки, прижимающие к груди деревянные чётки, торчащие из-под старенького, серого подрясничка рыжие растоптанные сапоги. Надо же, – под спиной поленья, а он спит, прямо как на перине. Оправившись от неожиданности, Павел тихонечко стал обходить, но снова замер: от монаха сильно пахло мирром. Ещё раз потянул носом воздух: нет, он не ошибался, пахло явно. Павел бочком-бочком двинулся дальше, посмеиваясь своим мыслям. Конечно же, этот монах ни какое не видение, а просто прислужник где-нибудь в крестильне. Там все так пахнут.

Ворота храма были ещё заперты, но, может быть, Никодим Петрович уже в пономарке? Обходя церковь, Павел разглядел за алтарём одинокую фигурку. Сторож? Или батюшка? Откуда-то потянуло ветерком, и туман разом поредел. Да, батюшка. Отец Николай стоял около самой стенки понурившись, о чём-то бормоча сам с собой. На Павла взглянул сурово, не благословляя, быстро сунул руку для поцелуя и тут же спрятал. И выслушивал словно через силу, всё время пряча глаза и ничего не комментируя. Когда Павел закончил, он ещё некоторое время помолчал, потом буркнул сквозь узко поджатые губы: «Помогай сегодня Никодиму с водопроводом. А вечером ко мне подойдёшь».

День казался бесконечным. В голове всё рвалось на две стороны: «что там с женой и матерью»? – и «почему отец Николай так себя повёл»? «Вдруг его ищут»? – И «неужели батюшка не видит, как ему тяжело»? Конечно, раз заступились отцовы друзья, на подписку о невыезде можно начихать. Да он и отъехал-то в пригород. А вот что здесь за явная такая неприязнь? Можно подумать, что он действительно в чём-то виноват. А, может, никому не хочется чужих неприятностей?.. И Никодим тоже молча сопит, ничего не спрашивает. Успел, подстроился под настроение настоятеля.

Ещё бы немного таких помыслов, и Павел, махнув на всё рукой, уехал бы домой. И будь, что будет! Но дотерпел. К концу дня, заменив в подвале задвижку с выржавевшим краном, они отмывались у сторожки от чёрной графитовой смазки керосином. Павел увидел, как отец Николай провожал и прощался с тем самым незнакомым монахом. Они сердечно расцеловались за калиткой, и батюшка ещё долго стоял, глядя в след уходящему к автовокзалу гостю. Потом сам подошёл к Павлу.

- Видал человека? – отец Николай обидно искренне светился улыбкой радости к другому. – Это, брат, удивительный человек. Мы с ним тридцать лет дружим. Монах, истинный монах. Настоящий.

- Из Лавры? Просто монах?

- Из Лавры, из Лавры. «Просто» – ты спрашиваешь? Да. Вот сколько лет знаю, столько просто монахом и спасается. Редкого смирения человек. Редкой красоты душевной.

Павлу захотелось подыграть отцу Николаю, продлить его благостное настроение. Может, и ему тоже тепла достанется, и его тоже приласкают:

- А он там в крестильне служит? Мне вот показалось, что от него мирром пахнет. Когда я утром мимо проходил.

- Эх, «показалось». Выпороть бы тебя, да настроение не то. «В крестильне»! – Нужники он в монастыре чистит. Общественные уборные. Послушание у него такое монашеское. Так мало того, ведь он, как получил сие послушание, так и впрягся в него всеми силами. Он же с самых первых своих трудовых дней и до сих пор – не только в бане ни разу не мылся, но и одежды на себе сам не менял! Столько лет. Пока на нём подрясник держится, пока с плеч не спадёт, он так и ходит! Только руки и лицо ополаскивает.

- Как «в бане не моется»?! Так от него чем тогда пахнет?

- А тем, голова твоя садовая! Послушанием, послушанием пахнет. И смирением. С ним же братия первые годы даже есть рядом не желала. К трапезной близко не подпускали. И спал он где придётся. Все им брезговали. И бранили, и в причастии отказывали. А он терпел да терпел. Вот теперь и благоухает, словно новокрещённый младенец. Куда там одеколоны! Вот ведь какая явная милость, какое нравоучение всем. Слава Тебе Боже, слава Тебе за милость, за урок нам, маловерам! А тут ты со своими.... Я тебе что говорил? – Не ходи в школу, не ходи! Не твоё это дело. Говорил?

- Говорил....

- А ты как столб чугунный. Всё в своеволии. Ничего тебя не назидает. А теперь до чего дошло? Опять то же самомнение. Обидели, видишь, его! Ишь ты, какое горе! Ишь, пуп земли! О себе, о себе только заплакался. Ты ведь за этой своей обидой опять самое главное просмотрел: на что же девчушку-то толкнули? Каково же ей-то сейчас? Ведь такая боль её душе нанесена, какая боль! А ты? – «меня обидели», «меня предали», «оклеветали»... Какое ж, всё-таки, неистребимое самолюбование! Ох, отойди от меня, дай остыну. Не то согрешу, тресну.

Отец Николай и в самом деле рукавами замахал, словно обветриваясь. А на сморщившемся лице такая искренняя горечь, что, лучше бы, и в правду ударил.

- Я ж тебе говорил: погоди, вот станешь священником, тогда и учи. С утра до вечера. Учи, пока язык ворочаться будет. А пока рано. Молод. Просил ведь тебя, просил как человека: поработай несколько годочков где в науке или, там, на производстве. В вере укрепись, опыта набери. Никуда твоё от тебя не денется. А ты? Господи, помилуй! Вот что сам удумает, то и творит. Пока петух жареный не клюнет. Ну да, теперь конечно: «Батюшка прости!»! «Батюшка помоги!»! А всего-то, всего-то – смирения бы чуток! И благоухал бы тоже.

Ладно. Хоть и рано, но теперь ничего не попишешь. Всё одно тебе теперь в Киеве жить не дадут. Дозадирался. Хорошо, что у меня в друзьях не одни ассенизаторы, но и архиепископы имеются. Созвонился я насчёт тебя. Примут. Так что, собирайтесь с женой – в Россию поедешь. Постажируешься с годик-другой, считаешь, а там тебя и рукоположат. В России-то. Сам знаешь, тут у нашего Филарета вам, Ивановым, Петровым да Сидоровым, никаким подвигом сана не выслужить. Був бы ты Иванэнко, тады ой. А так... Ох, Господи, ведь рано, рано тебе.

И ещё учи: владыко там – тоже монах истинный. Также пример послушания. Его смирение хоть не в нужнике проявляется, но клеветы ему также хватает. Хватает. Клевета, она, пожалуй, ещё и позловонней будет. Её под митрой и фелонью терпеть гораздо труднее, чем под драным подрясником. Вообще, как ты мог в своей обидёнке так измазаться? Так запросто бесов потешить? Толи мы с тобой не беседовали, толи ты умных книг не читал? Вера на земле – это терпение. Сто раз об этом говорено. И ничто не вразумило! Сколько ж тебе талдычить-то ещё нужно: клевета – это обязательное условие духовного роста. Какие же могут быть обиды? И на кого? На кого, я тебя спрашиваю?

СТРЕКОЗА

Елену похоронили у самой дороги на новоприрезанном участке кладбища. Светлый деревянный крест высоко выделялся посреди уродливого единообразия серых памятников местного производства. Её отпевали и хоронили иеромонах отец Нифонт, женщины из соборного сестричества и пятнадцатилетняя дочь Ника. Мелкий осенний дождичек перемежался клочкастым туманом, ярко-рыжая глина около утром выкопанной могилы липла неотскребаемо. Кладбищенские рабочие, проникшись происходящим, принесли и положили для священника и хора дощатый помост, забрав его от свежего богатого захоронения какого-то «братка». Вика не плакала, она просто неподвижно стояла чуть в сторонке и, не мигая, отстранёно смотрела на происходящее. Стояла и неслышно, сама по себе, молилась. Отец Нифонт закончил, дождался всех прощающихся, вытряхнул угли и спрятал кадило в сумку. Стараясь не запачкать о землю, осторожно стянул через голову омофор, смотал шнурки поручей. Потом ещё раз огляделся по сторонам, вздохнул. Шагнул в грязь, обнял Нику и повёл к автобусу. На светлом кресте неярко белела дюралевая табличка: «Монахиня Елена. 1963 – 1999».

Все, кто знал Елену от школьных лет до этой тяжёлой и неизлечимой болезни, не сговариваясь, всегда характеризовали её одним словом – стрекоза. И тут не было ничего оскорбляющего или насмешливо злого. Нет, она именно так всеми и воспринималась: лёгкая, вёрткая, какая-то всегда блестящая и безобидно бестолковая. Небольшого роста, глазастая, коротко стриженная брюнетка с хорошо сохранившейся, почти мальчишеской, спортивной фигурой, она и в характере и в манерах была чистая травести.

Закончив иняз пединститута, Елена получила «свободный» от распределения в какой-нибудь Мохнатый Лог Кочковского района диплом, и, неожиданно для всех, вдруг умчалась в

Прибалтику. Оказалось, она уже ждала ребёнка от заезжавшего к ним в институт на практику молоденького специалиста-электронщика. Но долго в Таллинне Елена не протянула, и через год она опять встречалась на всех, ещё достаточно братских, хоть уже и не студенческих, пирушках. От этого года замужества у неё остались только крохотная девчушка да странная еврейская фамилия с эстонским окончанием. Устроившись переводчицей в Интурист, она из-за этой своей фамилии оказалась «невъездной», и обслуживала только приезжие немецкие промышленные делегации. За незадумчивую легковесность поступков и неудержимую болтливость, её даже не стали вербовать в сексоты. Ибо, какое тайное задание ей можно было бы поручить, что бы о нём тут же не узнали несколько десятков, а, может, и сотен человек?

О её влюбчивости ходили анекдоты. Каждый год Елена, искренне начиная «всё сначала», горячо и щедро делилась со всем миром радостью от обретения «своего истинного идеала». Но порой даже не все успевали толком разглядеть достоинства этого «идеала», как уже выяснялась, что «он тоже сволочь». Как будто где-то в природе могли существовать тридцатилетние весёлые, компанейские, в меру пьющие и любящие потанцевать холостяки, способные на роль отца и мужа! И, в тоже время, в этих её романах не было какой-то обычной в таких случаях грязи, не было того, что могло бы просто называться распутством. То есть, не было грубости. Были только глупость и ... ещё раз глупость. Её не ругали, а жалели. Как, впрочем, и Нику.

Постепенно, в согласии с возрастом, все институтские друзья и подруги переженились, завели детей и, ради их правильного воспитания, постарались забыть свою буйную молодость. Елену же время как-то не трогало, она сдаваться и не собиралась. Кажется, Хемингуэй пошутил: «счастье – это крепкое здоровье и слабая память». Здоровье пока было.... Её страстной лёгкой натуре хотелось продолжать порхать и веселиться. Ведь всё вокруг ещё может случиться, всё может произойти. Ну, ещё хотя бы немного. Чуть-чуть.... Дополнительную иллюзию этой вечной весны и бесконечного красного лета ей додали богемные кампании разномастных артистов, художников и певцов, которых она подкупала своими иностранными знакомствами. Немцы в свободное от переговоров время обожали ходить по мастерским и пить дармовую водку под русские песни и мечты об эмиграции. Любовь к искусству проявлялась у них в виде рассказов о том, что у «фатера» или «мутера» «ин Дейчланд» тоже есть дома картины. Иногда, правда, всё же покупали какую-то мелочёвку, что превращало «фройндшафт» в ещё больший праздник. Для русского художника главное ведь не деньги, главное – внимание. Тем более иностранное. Елена чувствовала себя нужной, её окружали вниманием, со всех сторон кокетничали, в ответ она безобидно строила глазки, и молодость продолжалась. Разве это было не чудесно? В подвальном и полуподвальном свете мелкие морщинки почти незаметны, и комплименты от надеющихся на очередную продажу художников сыпались без меры. Нет, не буду так примитизировать: вообще-то артистический народец приятен и добр ко всем неконкурентам, даже вполне и бескорыстно. А, тем более, к легкокрылой и блестящей щебетунье. Так что, если ответно не вглядываться во всё обширней седеющие и лысеющие шевелюры растолстевших бодрячков, и делать вид, что ты в очередной раз не помнишь этого анекдота и не догадываешься, что через два часа тебе брести одинокой золушкой к разбитому корыту.... О, эти несносные часы, безжалостно отбивающие двенадцать!.. Хотя всё равно бывало очень даже весело.

А вот наша семья, не смотря на обилие творческих профессий, в это «весело» никак не вписывалась. И этим не столько цепляла Ленкино самолюбие, сколько разрушала старательно создаваемую ею для самой себя круговую панораму всеобщего порхания. Мы на её балу были ... как селёдка в блюде с пирожными. Или, вернее, как дырка в нарисованном очаге. Она так же пыталась знакомить нас со своими иностранцами, щедро рекламируя бошам и австриякам супружны спектакли и мои картинки. Но те у нас за столом почему-то не веселились, а смурели, начинали важничать. Словно вспоминали, что несут непосильное бремя представительства европейской цивилизации в центре азиатского континента. Тон застолья становился сугубо германским, без далёкого звона бубенцов и цыганских монист. Ну, не получалось праздников, да и переводчики, в общем-то, были не особо нужны. Поэтому с нашей семьёй Елена общалась кавалерийскими налётами. Обычно ни с того, ни с сего, в самое неудобное время раздавался звонок: «Ну, вы там чего? Я к вам иду пиво пить». И всё, это было приговором для целого вечера. Появлялась она всегда не только с пивом и дочерью, но с целым списком заученных вопросов. Дело обычно происходило на кухне. Пока дети где-то «нешумели», мы с женой подвергались

риторическим попыткам на тему отношений добра и зла. Вопросы были однообразны, особой эрудиции для ответов не требовалось, но задавались с очень нездоровым азартом, с нарастающей агрессией. Я тогда ещё не знал причины этого её внутреннего возбуждения, и от незнания ответно раздражался, начинал ёрничать. Вспыхивал спор. Да такой, что иной раз жена едва разводила нас по углам ринга. В конце концов, в самый разгар дебатов из детской комнаты наконец-то появлялась Ника и строго командовала матери: «домой!» А я ещё долго не мог успокоиться. Зачем она приходит? Что между нами может или должно быть общего? Совершенно чужой человек. Всё, больше не принимаем! Но через пару недель в трубке опять звенело: «Ну, вы там чего»? И всё повторялось.

А дело было как раз в Нике. У спортивной мамы девочка росла очень болезненной. Куча наследственных дефектов от папы, плюс копившиеся недолеченные хроника. Самое страшное, что у неё с семи лет стала катастрофически быстро развиваться глухота и слепота. Елена обегала и объездила всех специалистов. Заставила даже бывшего мужа кого-то где-то поискать в его освободившейся от «имперского ига» маленькой, но такой теперь независимой стране. Как выяснилось в результате всех консилиумов и консультаций – требовалась срочная операция на мозге. И сделать её могли только в Германии и только за большие деньги.

В это время она сотрудничала с одним немецким профессором. Этот профессор, благодаря брату-чиновнику, попал в финансируемую федеральным правительством программу и постоянно приезжал читать нам лекции по свободной рыночной экономике в условиях демократического государственного устройства. Заодно он подыскивал здесь для крупных западных фирм относительно надёжных партнёров-дилеров, на которых ему указывали уже наши чиновники, тоже, в свою очередь, чьи-то родственники. За это он получал с этих «надёжных местных бизнесменов» комиссионные. Суммы хоть и в валюте, но вывозить их из России в Германию не рекомендовалось. Зачем налоговой полиции и фрау профессору знать слишком многое?

Когда Елена поделилась с ним своей бедой, профессор немного подумал, надел свой лучший костюм, пригласил её в гостиничный ресторан и сделал ей вполне деловое предложение. Он уже пожилой и очень уважаемый человек, у него есть достойная карьера и очень добропорядочная семья. Он может гордиться тем, как устроил жизнь. Но! Профессор ещё не собирается умирать, ему ещё хочется иметь немного человеческих радостей. И для этого есть некоторые накопления. Она смотрела на его рыбки за толстыми линзами мутные глаза, на побабьи обвисшие глубокими морщинами щёки. На толстенькие конопатые, с короткими холёными ноготочками, ручки. Шестьдесят пять. И ему ещё хочется иметь немного человеческих радостей. А дома одиноко сидела слепнувшая и глохнувшая дочь.

Одно дело – чувства. В них есть, пусть иллюзорное, ощущение собственной несвободы выбора. Мол, судьба, рок. Ослепление. За это и судить-то в общем нельзя. То есть, в них сразу заложено некое право на ошибку. И на неосуждение. Совсем другое – положение тайной содержанки, униженно рационально обслуживающей чужую похоть. Тут только холодный расчёт. Вернее, только расчётливая подлость. А в подлости ошибок не бывает. Значит, не может быть и прощения. Конечно, всё ради дочери, только ради дочери, но Неужели, действительно, нельзя было по-другому?.. Тайная ночная борьба с собственной совестью у Елены вырывалась дневной горячечной агрессией против общественной морали. Елена пыталась обрести хоть какое-нибудь оправдание себе в том, что «другие-то тоже не лучше». И не ожидая пощады от окружающих, она сама задиралась на всех, рассыпая самые разнообразные варианты только одного вопроса: «Кто без греха»? Чтобы затем прокричать всему миру: «так и не смейте кидать в меня камни»!

Но мы-то ничего не знали.

Из Германии они вернулись через три месяца. Операция прошла успешно, Ника стала слышать, улучшалось и зрение. От избытка благодарности Елена несколько раз заходила в церковь, ставя свечи перед всеми иконами подряд. И после каждого такого похода она обязательно отчитывалась перед нами. Мне бы просто порадоваться этому порыву, но я уже не мог выйти из ернического тона предыдущих кухонных баталий. Ну, и слишком она была стрекоза, чтобы поверить в её долгую религиозность. А Елена вдруг, – а, может быть, назло мне? – накупила целую кипу толстых и тонких руководств по христианской жизни. Апофеозом этой скороспелой библиотечки стала суперфарисейская двухкилограммовая книжища с многозначительным

названием: «Можно ли спастись в современном городе?»... Что ответить на такой вопрос? Конечно, о даже гипотетическом Еленином православии в таком русле религиозного познания и речи не могло быть. Хорошо, что успел отнять и выкинуть три тома бормотаний Меня.

Но теперь она цеплялась ко мне вполне конкретно. Согласно изучаемым дома уставам и правилам поведения на службе, похоронах или крестинах.

Прежде всего: почему «старослужащие» в соборе бабки не проявляют к неофитам любви? Чуть ли не щипаются, если женщина без платка и в брюках. Второе: почему дьякон всё утро зевал и не крестил рот? Третье: почему владыко такой толстый? А ещё почему называется «таинство», а исповедуются все вместе? Всем же всё слышно! Перечень подобных вопросов требовал здорового чувства юмора. Но со временем список менялся. Вернее, у Елены с какого-то момента вопросы стали перемежаться утверждениями. И цитатами. И поучениями. И осуждениями. Меня, многогрешного, в том числе.

Дело, оказывается, было вполне стрекозиное. Весна, цветы, характер. Конечно же, она опять влюбилась! Но в этот раз влюбилась так необычно, что не решалась даже поделиться известием о встреченном «идеале» ни с кем, кроме нас. Ибо он был «послушник». Чему послушник? Кому? Она не могла внятно объяснить, а я не мог удержаться от хохота. И Елена пропала надолго.

Зашла она только через год. Я привычно рванулся за пивом, но она заявила, что теперь не пьёт спиртного вообще. Пошто? Духовник не велит. Это было уже интересно. И от чая она отказалась, потому что разговор предстоял сугубо деловой. Это было уже очень интересно. Выглядела она осунувшейся, нездорово усталой, я даже причину понял не сразу: да это же она абсолютно без грима и с аккуратно прибранными, пробитыми первой сединой волосами! Когда они успели поседеть? Так она сразу претавала быть «девочкой». Время, изо всех сил тормозимое ею, теперь рванулось вперёд, стремясь догнать ... кого? А самоё себя. Событий в Елениной жизни за год произошло неисчислимо. Она нашла в своём семейном древе дедушку священника, похороненного на бывшем кладбище, а теперь парке развлечений в Берёзовой роще; она стала активной прихожанкой одного из соборов, где несла послушание бесплатной переводчицы; она возила летом Нику в детский православный лагерь и, вот, вступила в сестричество. По проблемам этого сестричества теперь и заявила. Обсудили, порешали. Дело было благое: женщины взялись помогать одиноким матерям, которых они же и уговаривали не делать аборт. Ходили по консультациям и больницам, знакомились в очередях и упрашивали не убивать ни в чём не повинных младенцев. Основная-то причина абортов в России примитивно проста: нищета, ужасающая перестроечная нищета. Поэтому практически всем, решившимся под впечатлением беседований родить, срочно требовались деньги, продукты, одежда. Может быть, кому-то найдётся и надомная работа. Для этого Елена просила рекомендаций к нашим знакомым «бизнес-леди», у которых семейные и, естественно, материальные дела были достаточно благополучны. Она уже попыталась собирать помощь без рекомендаций, но что-то не получалось. Не получалось? А почему именно она? – Ну да, сама на это «послушание» напросилась: «раньше, мол, столько вокруг знакомств и друзей было. И среди богатеньких тоже. А теперь вдруг все от неё шарахаются, смотрят как на сумасшедшую».... Ох, простота. Нормально смотрят: в её клёпаной никелированными шипами рокерской кожанке и в узких брюках просить на церковную благотворительность? Да и к кому она могла обращаться? И ещё обижаться вздумала: «столько знакомств и друзей!» Это же были знакомства и друзья стрекозы.... Немного задирали ситуация, когда настоятель только благословил начинание и спокойно умыл руки. Не понял, что ли, – кого и на что благословил? Получалось: уговорить-то они матерей уговорили, а дальше ответственность перекадывалась на плечи третьих лиц. Совершенно случайных. Иной раз даже не православных. «Ленка, а он-то о чём думал – отчитаться перед начальством»? Но для новоиспечённой истинной христианки настоятель выше любой критики. «Да, кстати, а как твой послушник»? Естественно, сбежал. В какой-то очень далёкий монастырь, Псковский или Ферапонтовский.

А потом она с благословения своего настоятеля боролась ещё и с сектантами. Со всеми и во всём мире сразу. Естественно, никакими не молитвами, а переводными гневными брошюрами и печатными обличениями. Когда я попытался втолковать, что судьбы Божьи – это не её дело, что одержимых не уговаривают, а бесов не переубеждают, она только терпеливо кивала головой, но точно так же по-сектантски заучено твердила, что «кому-то нужно их спасать, спасать, спасать». А

заодно пыталась спасти и меня, работавшего тогда в Могочинском монастыре, объявленном в их приходе вне закона. Потом, потом... В общем, всё было нормально. Круг за кругом Елена проходила все положенные этапы развития страстного неопита. Ещё б немного, и мы бы точно примирились. Но она снова куда-то надолго исчезла.

Последний раз мы встретились на крестном ходе. Ход этот для нас есть нечто совершенно указующее. Милостью Божией, политические митинги конца восьмидесятых, проводившиеся у подземного «вечного» огня под предлогом юбилея Куликовской битвы, мягко и безболезненно переросли в совершенно церковное действие на Рождество Богородицы. «Вечный» огонь венчал мемориальный комплекс строго масонской направленности – с обязательными четырьмя алтарными ступеньками перед поклонением западу. Помню, сколько было нареканий от отца Димитрия, ныне архиепископа соседней епархии, когда, по недоумию, мы просили отслужить литию по вождям и воинам, жизнь за Отечество сложивших, рядом с рвущимся адским факелом, забросанным жертвенной мелочью. На фоне изображения пятиконечных звезд, победно наступающих на кресты. Но всё-таки отслужили. Ради любви. И та молитва 1988-го года может считаться для многих новосибирцев поворотной точкой в понимании патриотизма. Здесь прошёл водораздел, уведший одних под хоругвь, других под красное знамя...

Старательно раскручиваемый социал-национализм, злободневно прикрашенный неоязычеством, не успев вздуться, лопнул, освободив путь для возрождения православной Руси. И эксплуатация страстей испуганной и разозлённой перестройкой толпы сменилась торжественным шествием от Вознесенского кафедрального собора через весь центр к собору Александра Невского. Ведь только вдуматься: от демонстрации – к крестному ходу! От мегафонных призывов ненависти и бунта – к молебну с «мир миру даруй и Духа Твоего Святаго». Много, много возможно в Рождество Покровительницы нашей Родины. Слава Богу за всё.... Крестный ход – это Крест идущий – и люди идущие за Крестом.

Предлогом для первого хода стало освящения памятного камня, где затем была восстановлена часовня святителя Николая, покровителя нашего города. Молебен у часовни, отмечавшей когда-то географический центр Российской империи, теперь стал главным общественным событием для православных горожан. Слава Богу. Вот в этот всегда светло солнечный день, мы с детьми, как обычно, шли в самом конце растянувшейся колонны, празднично возглавляемой архиереем, священниками, монахинями, сборными хорами и бравыми казаками. Золотые хоругви на сером каменном фоне, метания кадил над асфальтом, блеск риз вдоль пропылённых, чуть желтеющих берёзок, светлые лики икон и строгие монашеские клобуки, красные лампасы, ладан через выхлопа.... Наш относительно молодой, почти абсолютно советский по архитектуре, промышленный мегаполис в этот момент обретал вневременность. Жизнь суетливого центрального проспекта зачарованно замирала, спешащие куда-то люди замедляли свой бег, останавливались вдоль парапетов, лица их светлели, кто-то крестился, кто-то, спохватившись, присоединялся. И все, все улыбались. Крестный ход - это нужно почувствовать: «Мир миру даруй и Духа Твоего Святаго». Сколько незнакомых, но теперь таких близких, таких родных шли рядом под явным благодатным покровом.... В конце колонны старушки в белых платочках несли иконки, вокруг нас было много родителей с детьми, кто-то вёл увечных, немощных. И разговоры, тихие разговоры только о сокровенном, только о святом. Впереди хоры перекликались со священством, но ветер относил звуки в сторону. Не разобрать. Поэтому женщины сами, нестройно, но воодушевлённо пели «Богородицу». Когда мы приблизились к часовне св. Николая, толпа уже плотно сгрудилась около служащего на ступенях молебен владыки. Пристроив детей на заборчике, мы с супругой встали в сторонке. И здесь увидели Елену, поразительно бледную, как-то ссутулившуюся и тяжело опирающуюся на догнавшую её ростом Нику. Но так же, как все кругом, радостно улыбающуюся. Они собирались сразу после молебна ехать домой, но мы уговорили зайти к нам. Нике очень хотелось поиграть с нашими девчонками, и Елена согласилась:

- У тебя водка есть?

Увидев моё лицо, засмеялась:

- Не падай, мне и шприц нужен. Двухкубовый.

Она недавно перенесла операцию, и ей приходилось каждые четыре часа делать инъекцию. Что-то растирая и растворяя в столовой ложке, Елена, наскучавшись в больнице, тараторила не переставая. Торопливый, перелетающий с темы на тему говорок никак не вязался с тем, что она рассказывала. Я понуро сидел развеса уши и ругал себя, ругал за невнимательность: как можно было не увидеть чужие человеческие страдания? Казнил за недоверчивость: разве Дух не дышит, где хочет? Вот истинная слепота и глухота. Ленивость сердца. Да пусть она всегда была стрекоза, да пусть недалёкая, увлекающаяся, смешная. Но – искренняя, всегда искренняя!.. И это было в ней главным....

Болезнь развивалась давно, вначале медленно, обещая шансы на выздоровление, потом всё стремительней, безжалостней. Все её мысли сосредоточились на Нике: как же она в таком возрасте останется сиротой?! Елена, сколько могла, не подавала дочери виду. Слезы пускала только в ванной. Вместе с кровью. Держалась молитвами. Научилась сердечному деланию, это утешало, не давало отчаяться. Милостью Божией познакомилась с приехавшим из Сергиевой Лавры в наш город старцем Наумом. Его заступничеством боли немного отошли, но анализы не оставляли никакой надежды. И старец благословил на тайный постриг перед операцией. Елена тогда уже часто теряла сознание. Поэтому и постриг помнила отрывками. Из-за Ники выписалась пораньше. «Да, да, и теперь в брюках хожу. Но это для поддержки бандажа. Сейчас для меня самое главное – молчать. Мне же очень трудно мирским не проболтаться о своём монашестве. Ладно, это вы всё понимаете, а вот встретила вчера Вовку Аева. Тот, конечно же, сразу полез обниматься по старой памяти. Но мне же теперь нельзя, чтобы мужчина прикасался...». Я смотрел на неё и чуть сам не плакал: Ленка – монахиня, в тайном постриге, смертельно больная, рядом малолетняя дочь скоро останется сиротой, – и мелкие, такие, чисто её стрекозиные смешные проблемы. Придумать невозможно. Сколько уже довелось видеть монахов и схимников, знал верижников, слышал и про тайный постриг. Но! Но никогда бы не смог даже подумать о Елене, – что она, именно она! – станет в ангельском чине. Господи, неисповедимы пути Твои, поразительно Ты ведёшь нас, таких разных и несхожих, под единую Свою волю!.. Нет, если бы не авторитет отца Наума, то.... Прости меня, Господи! Прости меня, и новопредставившаяся монахиня Елена! Молись там о нас, здесь живущих. Каковы-то ещё будут наши судьбы....

БУСЛАЙ И ЗОТИК.

- Я не пью.
- Чего так?
- В завязке.
- ...?

- Отвали, я же сказал. – Буслай резко, на пятках, развернулся, и крупно пошагал в сторону березняка.

Четверо уже присевших на края расстеленного посреди обдуваемого поля брезента мужиков молча переглянулись и одновременно начали поправлять выложенную по центру снедь. А стоявший с эффектно вознесённой бутылкой китайского спирта Серёга-электрик недоумённо повторял в никуда:

- Чего он так? Чего?

Сентябрьский ветерок налётисто приглаживал хорошо отросшую отаву, снося неугомонных слепней и мошку. Нежаркое солнышко окончательно просушило землю от утреннего дождика, и теперь щекотливо нежило расположившихся отобедать на природе бригадников, своей несуетной, сдержано-материнской лаской вызывая из забвения какое-то неуловимо детское, вязко-разморенное состояние беззаботности. И только Серёгу продолжало дёргать:

- Эй, ты! Ты, псих! – Но и он, тряхнув впослед уже входившему в сплошь золотой берёзовый колок Буслаю мутно запузырившейся бутылкой, плюхнулся к остальным. – Психом был и психом помрёт.

- Оставь. – Бригадир дорожных ремонтников, бородавочно-грузный, пугающий всех новичков тяжким пыхтением Диманыч сосредоточенно отламливал в своём пакетике и выдавал каждому по ровно откалиброванному малосольному огурчику. – У него резонный повод. Уважительный.

Вообще Буслай, – по паспорту Олег Олегович Буслаев, – всегда был сам по себе, всё молчком и на отшибе. В болельщицкие споры не вступал, в праздничных куражах не участвовал, на складчину шёл неохотно, и поэтому, хотя в работе не сачковал и тянул ляжку в полную меру своих внушительных сил, однако нежной любовью у товарищей не пользовался.

Что о нём знали? Детдомовец, болтавшийся по молодости в портах и на каботаже Приморья, тянувший через Томские болота ЛЭП, гонявший скот из Монголии и строивший мост в Екатеринбурге, этот вечный бесприютник к тридцати пяти годам, даже для самого себя неожиданно, взял да и родил от такой же неприкаянной подружки сынишку – Егорушку. Однако общаговский быт беспросветных девяностых как-то уж слишком быстро разбил их утлую семейную лодку. И месяцев через шесть, забрав сына, Танька сбежала к родителям в райцентр Ивановской области, оставив сожителю письменные претензии и приличных размеров долги.

Тогда-то Буслай и испытал первый приступ религиозности.

Субботним апрельским вечером, пьяный смесью водки и тоски до почти полной утраты человеческой речи, он ввалился во двор прикладбищенской церкви Успения Пресвятой Богородицы, и, распугав благостно воркующих после службы старушек, тяжело грохнулся на колени прямо перед высоким крыльцом. Страшно мыча и рыча, Буслай кулачищами размазывал по щекам слёзы и слюни, и, тычась лбом в асфальт, неумелой щепотью крестил себя то слева направо, то справа налево. Молоденький сторож и дворник Толик, робко вжался в косяк, настраиваясь как-нибудь, но не впустить неумолимого громилу в незапертый ещё храм.

Однако Буслай даже не пытался войти. Минут за пять-десять открячавшись, всё ещё крупно сотрясаемый всхлипами, он, обмякая, прочно устроился на асфальте и, раскачиваясь, теперь лишь жалостливо поскуливал. Старушки от греха подалее давно разбежались, а на укрепление Толикова духа из ризной подоспел ещё более тщедушный, семидесятипятилетний иеродиакон отец Зотик. Вдвоём они затворили тяжёлые двери, замкнули их на висячий замок, и монах, отправив послушника ужинать, остался на ступеньках покараулить нежданного гостя.

С полчаса они молчали, погружённый каждый в своё. Зотик, перебирая узелочки самодельных чётков, отстранённо смотрел, как влажно-розовое небо заполняется синей облачной рябью, как подлетевшие недавно с юга серошеии, голубоглазые галки, нежно перекликаясь, собираются на ночёвку в дальнем краю кладбища. Как настоятельский кот брезгливо моет белые носочки передних лап под дверями трапезной. Буслай окончательно притих, как вдруг, словно очнувшись, вскинулся, удивлённо заозиравшись по сторонам. Попытался даже подняться, но ноги не послушались, и он, смешно растопырившись, завалился на спину. Коротко простонав, замер.

- Ты, сынок, не располагайся надолго. – Старческий тенорок звучал с небидным юморком. – Землица ещё холодная, будешь потом с почками али с простатитом маяться. Вставай полегоньку, не пляжный сезон.

- Душа умерла. – Только что мычавший и скуливший Буслай произнёс эти слова совершенно отчётливо, словно даже не своим, чуждо хрипловатым голосом.

- Вряд ли. Но, всё одно, поднимайся. Давай вот сюда, на мой коврик. И выкладывай скорби да печали.

Со второй попытки одолев крутые крыльцовые ступени, Буслай тяжело подсел, едва не придавив крохотного худенького старичка, и, опять раскачиваясь, захрипел по-чужому:

- Жить незачем.

- Что так? Неужто ни денег, ни почёта не хочется? Ну, хоть поблудить-то тянет?

- Ничего не хочу. Устал.

- Надо же, какой заране утомлённый.

Чернильно-синие облачка окончательно залепили небосклон, резко засмеркалось. Глыбы громоздящихся вдали девятиэтажек просветились рябью оконного разноцветья. Отужинавший Толик уже дважды выглядывал во двор, но, верно оценивая обстановку, тут же скрывался.

- И когда душа обмерла?
- Не знаю. Может, сейчас. Может – двадцать лет таила, да теперь прорвало.
- Ты крещёный? Каким именем?
- Олег. На Тысячелетие в Новосибирске крестился.
- Сам? Молодец.

- А-а-а! Тогда все в церковь повалили – как сдурели разом. Очередь, духотища. Дети вопят, бабы в обмороки падают.

- Не «сдурели», а очнулись. Не сами же шли, а Господь призывал. Вспомни, какие у всех лица осветлённые были благодатью.

- Не помню ничего, мы тогда крепко это дело обмыли.

Чётки в руке Зотика дрогнули, но он сдержался:

- А после того в храм заходил?

- Раза два. На Пасху как-то, и за водой.

Нехороший ветерок жёстко заколол мельчайшими каплями-брызгами, застучал-зацарапал голыми ветвями ивы по кладбищенской огороде. Зотик зябко подтянул плечи, и неожиданно легко приподнялся:

- Ну, Олежек, протрезвел? На ногах устоишь?

Буслай встал, с неким недоверием к себе бочком спустился с крыльца, и вдруг притопнул:

- Пожалуй, что и спляшу. Цыганочку с выходом.

- Не дерзи! – Ответно притопнул Зотик. – Пьянь разэтакая. Ну что ж ты над собой вытворяешь, дурья твоя башка? Что ж ты так сам себя мытаришь-мучаешь? Это ж надо – такую боль терпеть и ещё фуфыриться! Проспись-ка и приходи назавтра. Приходи, сынок! Надо тебе, вижу, очень надо.

От неожиданности выговора Буслай вытянулся во весь рост и жалобно прошептал:

- А ты научишь меня, как опять жить захотеть?

- Ох, горе ты, горькое! Тут не учительствовать надобно, а молиться за тебя. Крепко молиться. Ходатайствовать о тебе перед Господом и Пречистой Матерью Его.

О чём уж они в воскресенье после литургии три часа пробеседовали, кружа по кладбищенским дорожкам, – но вскоре заходил Буслай за Зотиком ровно прирученный медведь. Или точнее – пёс, потерявший и вновь обретший хозяина. Что такого сотворил старичок-монах со здоровенным вольнолюбивым мужчиной, но в любую свободную минуту бежал тот теперь в церковь: ставить ли леса на перекрытии колоколенной крыши, помогать ли маломощному Толику с вывозом весеннего мусора с могилки. Выбивать ли для старушек ковры-дорожки. Просто подхватничать. И, спрашивая, слушать, слушать такие, оказывается, простые и ясные истины.

А потом, затяготившись несовпадением своих новых интересов и общежицкого окружения, и вовсе перебрался к Зотику на постой, в его крохотный деревянный домик в две комнатки, с заросшим сиренью палисадником.

Лето отцвело-отплодило. Ветреная осень наскоро раскрасила парки и скверы, и уступила город первоснегу. Отпустивший рыжеватую-пшеничную, с завидно пышными усами, бородку, Буслай одолел Евангелие, вычитал кое-что из пророков, научился различать священноначалие. Постепенно отлаживалась и молитва. Обнаружив приятный тенорок, он тихонько подпевал в непраздничные дни в хоре. Настоятель даже благословил в очередь с отцом Зотиком и Толей читать Шестопсалмие. В общем, столь явное чудо душевного Буслаевского воскресения сердечно умиляло всех, кто знал-слышал про прежнее его беспутное житие. Вся их приходская старушачья гвардия любовалась духовным чадом отца Зотика, гордилась, ластила-льстила, смущая мелочными подарками и услужливой заботливостью.

А зима вошла в красу! Присыпая блёсткой порошею городские убогости, метелями свежила улицы, синичьим звоном наполнила дворы, сияла юной розовощёкостью по каткам и горкам, дразня предвкушением грядущего праздника всеобщих счастливых надежд.

И вот, под самое заговенье на Рождественский пост, налегло-навалилось на Буслая неодолимое желание увидеть сбежавшую от его дёрганности и пьяных закидонов подружку-сожительницу, всё же решившуюся тогда родить ему, разгильдяю, сына. Просто неутерпимо

захотелось поделиться с Татьяной радостью обновлённой своей жизни, а, может, и уговорить ещё разок попытаться возможность семейного счастья. Понятно, что никаких таких уж особенных чувств меж ними и изначально не лежало, но – сын! Егор! Имеет же право мальчик воспитываться отцом. Тем более, таким, нынешним, обретшим трезвое христианское мировидение.

Зотик как-то странно не восхитился Буслаевским настроением. Не отговаривая, просто замкнулся, съёжился-ужался, насуплено не участвуя в суетливости покупок билетов, подарков и новой представительской одежды. А Олег пел и порхал, фонтанируя планами и предположениями, красно вычёркивая дни до отпуска в настенном календаре.

- Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабу Твоему Олегу ныне, якоже Товии иногда, послы сохраняюща... – Буслай даже не оглянулся на крупно крестящего его в спину Зотика. Держа над головой чемоданчик, он по раскатанному детворой спуску сбежал-скатился к автобусной остановке, уже оттуда отмахнувшись на прощанье шапкой.

Встречная метель забивала глаза и рот крупными лепёшками снега, выстужала грудь и щиколотки, норовила вывернуть чемодан. Из-за переёмов автобус не дотянул до райцентра три километра, остановился ждать тягача. Но Буслай-то ждать не мог! Наваливаясь на противящуюся его страсти злую белесую взвесь, он почти вслепую шаг за шагом пробивался к тем, кто должен был удивиться, озадачиться, а потом, наверняка, и обрадоваться новому – нет! – обновлённому человеку. Нечужому им человеку.

На стук дверь отворять не спешили. После умучивающе долгой возни, наконец, в сенях загорелся свет, и в узко приоткрытом проёме встал невысокий, крепкий, совсем ещё нестарый Пётр Андреевич – Татьянин отец. Выслушав Буслаевские самопредставления, отстранился, пропуская в дом:

- Входи.

Жарко натопленная кухня сыто благоухала подходящим тестом, свежее нажаренной картошкой с грибами и чесночной заготовкой к холодцу. Где-то за плотной занавеской притаилась слишком уж скоро удалившаяся «с мигренью» Анна Николаевна, а далее... сколько Буслай не прислушивался, но из комнаты, где, как сказали, спал сынишка, никаких звуков не доносилось.

Над узким, нечасто заставленным по клеёнчатой скатерти разнородными мисками и тарелками столом они сидели, почти уперевшись лбами. Петр Андреевич только слушал, лишь кивая или вскидывая к губам палец, да иногда выдавливая невнятные междометия.

А когда Буслай иссяк, он ещё и затянул невыносимую паузу.

- Всё это весьма интересно. И поучительно, и душе приятно. – В грудном шёпотке вынеслось нечто неискреннее, актёрствующее. Буслай ощутил под желудком тоскливый холодок. – Оно даже несколько извиняет твоё запоздалое, так сказать, явление народу. Однако теперь выслушай и моё мнение. Не перебивай.

Петр Андреевич опять приподнял палец:

- Ты вот осчастливить нас решил. Так сказать, покался, получил грехам отпущение, и айда на отцовство и супружество. В самый раз под ёлочку подгадал. Однако, и я ведь к сему свиданьицу тоже весь этот год шёл. Всякого понадумал-понафантазировал. То Богу молился, то к четям посылал. Даже об убийстве мыслишки прокрадывались. Зато могу теперь заявить осознанно и несомнительно: не нужен ты нам. Убирайся. Утопывай. Чтобы духу твоего тут не было. Таково моё окончательное решение.

И вдруг свистящий вскрик:

- Будьте вы с Танькой прокляты!!

Буслай смотрел на дрожащие в кривоте губы, на зажмуренные удержанием слёз глаза. И холод из живота возгонялся в сердце, ожимал горло, горбатил межплечье.

Да, надо было понять и принять решение человека, русского крестьянина, отца, чья дочь-дочурка, радость и надежда, поехав за судьбой в дальние города, так и не закончила строительного колледжа, но нашлялась-нагуляла ребёнка, и затем, скинув его дедам, уже совсем отвязано зажила с каким-то носатым-усатым Аликом. Полупьяная, раскрашено-чумазая, торговала теперь в кавказской конуре всякой дрянью.

- Где?!

- Не грехи. Ты же ноне святой, только щёки подставлять должен.

Петр Андреевич официально усыновил Егорушку, дав свои отчество и фамилию. Пусть парнишка растёт, думая, что он просто запоздалый ребёнок. Чтобы никто, нигде и никогда не посмел ткнуть его шлюхой-матерью и бомжарой-отцом.

- Досидишь до шести утра, соберёшь свои прянички, и – скатертью дорога. На все, так сказать, четыре стороны.

- Взглянуть хоть на малого позволь?

- Нет. Ради него и не допущу.

Надо было понять. Принять.

Два диких затяжных запоя довели до психушки. Прочищенный галоперидолом и утихомиранный «серкой» до овощного состояния, опять же сырым апрельским вечером стоял Буслай на коленочках перед Зотиком. «Ох, горе ты, горькое! Дурья твоя башка!» – и снова монтировал он леса для реставраторов, помогал Толику, выбивал ковры-дорожки. Подхватничал. Но уже без всякого задора-радости. И без старушечьего любования.

Продержаться удавалось не более месяца. Накатывала депрессия, когда даже свет луны резал болью, а лёгкий шорох разворачивался дикими страхами – и Буслай запивал. Пил он всё, со всеми, где только что мог добыть. Пропадая неделями, вдруг приползал – грязный, избитый, раздетый и разутый. Размазывая сопли и слюни, скулил о себе и грязно, до богохульства, ругал остальной мир. В эти периоды Зотик прятал Буслая, даже что-то лгал настоятелю, чтобы мужика не погнали с прихода – какая-никакая, а всё ж работа, не отлучили от таинств – ведь тогда гибель точно неотвратимая. Терпеливо мыл загаженные полы, подстирывал, штопал, выносил опустошённые бутылки и отпаивал настоями трав. И ничем не попрекал. Так, ворчал-бурчал необходимо.

Что понудило этого малосильного, хворобного старичка взвалить на себя и понести такой тяготный и неприглядный крест? Почему именно Буслая выбрал он из виденных-перевиденных алкашей и бродяг, то и дело молящих и требующих на церковных папертях помощи? Искренне и не очень рыдающих о себе и клянущихся преобразиться, лишь бы их пожалели. Сейчас, немедля. А после полученной краткой передышки неизбежно вновь срывающихся в прижизненный ад, в новом падении злорадно высмеивая и хуля своих мягкодушных лабухов-жалельщиков.

Чем же Зотику показался именно этот? То осталось тайной сердца монаха.

Буслай, уловив свою безнаказанность, по протрезвлению винился теперь нетрудно, даже вызывающе: да, мол, падаю, грязнюсь, но потому как больной, одержимый. Жизнь подломила, судьбина подсекла, и демоны одолевают. А православные должны прощать, обязаны – так Бог заповедал! Отлежавшись, правда, впрягся в работу по-полной, подхлестывая себя чефиром, крутился и тянул, не ведая ни отдыха, ни продыха. Как раз в храме капитально меняли трубы отопления и канализацию, и его взрывная физическая мощь была весьма к месту.

И ещё. При всех своих пьяных безобразиях, никогда Буслай не проявлял ни к кому насилия. Это его били милиционеры, грабили собутыльники, оскорбляли проститутки. Он же свой кураж демонстрировал только в работе.

Однако по зиме начал вдруг резко слабеть, спал с лица, пожелтел глазами. Ночами крутился, покряхтывал от бродячих болей то в суставах, то в подреберье. Зотик предлагал обратиться к врачам, тем более, были и свои, воцерковлённые, но – куда там! Даже когда и без выпивок тошнило уже постоянно, Буслай только кисло усмехался: «А давай, отец, на руках! Передавишь, веди хоть в анатомический театр, студентам на опыты». Открылись частые носовые кровотечения, на животе всплыла венозная «голова медузы». Но страшно догадывающемуся Зотику оставалось только ждать. Ждать, когда бычащемся Буслаю станет невмоготу.

Невмоготу стало прямо на улице. Они возвращались из храма предсретенскими сумерками в том чудном душевном расслаблении, каковое наступает после вечери с миропомазанием. Синяя февральская тишина не смущалась мягким скрипом их шагов по свежо подсыпаемому снежку, а других звуков в переулках частного сектора в это время и небывало. Буслай, с утра какой-то угнетённый, за службу отмяк, расправился складками вокруг глаз. И теперь, поддерживая под

локоток мелко топтавшего Зотика, он то и дело вскидывался к невидимому небу, игриво сфыркивая с усов тающие звёздочки. Как вдруг, закосившись, пошёл-пошёл на подгибающихся ногах в сторону. И упал, ткнувшись лицом в призаборный сугроб.

- Олежек! Олежек! – Зотик за воротник вытянул его из закровавленного отпечатка. Обняв, пытался посадить. – Что же это, Господи? Господи Иисусе!

Диагноз, он же приговор: алкогольный цирроз печени на последней стадии.

Перерождающаяся ткань, уплотняясь, рубцами пережимала внутренние сосуды печени и загоняла кровяное давление уменьшающегося органа до неизбежности разрыва вен. Как правило, после первого обильного кровотечения восемьдесят процентов больных не проживало и года.

Выведенный из комы, Буслай ещё три месяца лежал, бессмысленно прокачиваемый капельницами и уколами, травимый таблетками и порошками, истязаемый диетой в желтушном отделении, пока не выписали его домой ... помирать. И не было за эти месяцы дня, в кой не забегал бы, не просиживал у его кровати дозволенные к посещению часы, сам до прозрачности усохший, старичок-монашек. В больнице к Зотику привыкли, кроме Буслая, он всегда как-то успевал переговорить-перевидаться с десятком лежащих и лечащих, нуждающихся в просфорках и святой воде, в молитвословах и иконках, в подаче в алтарь заказных записок на молебны и сорокоусты. К Зотику привыкли, его ждали, дорожили каждой минуткой общения. А через его заботы проникались состраданием и к его «сынку Олежку – пьяни разэтакой».

Начальное лето вливалось в открытое окно, переизбытком растущей и цветущей жизни выжимая из комнатки запахи камфары и фуруцилина, загоняя боль в подкроватную темноту дожидаться своего ночного всевластия. Укачиваемый рябой тенью осыпавшейся фиолетом сирени, Буслай прислушивался к доносящимся с улицы ребячьим голосам. Там, прямо у палисадника, шла азартная возня, сопровождаемая звонкими препираниями. Четверо или пятеро дрессировщиков наперебой обучали соседского Шпунтика всем необходимым служебной собаке командам. «Сидеть!» «Лежать!» «Ко мне!» «Апорт!» Но вот, судя по рёву самого младшего инструктора, съевшей все вкусные стимулы дворняжке удалось сбежать.

В доме Зотика отродясь не водилось ни телевизора, ни радио, и десятилетиями настоящая тишина легко меняла окраску. От пугающей предчувствиями и удушливо злой, до нудно тупящей или же распирающе-праздничной – тишина была эхом всего, что звучало внутри Буслая. А сейчас в ней вился и метался то ликующий, то отчаивающийся мальчиноческий голосочек. Голосочек, каким мог бы спорить, командовать и упрашивать хитроумную собачку его сын. Его Егорка.

Толстый молитвослов с акафистами... Лествица... Златоуст... Июньские Жития...

Развал раскрытых книг возле изголовья опротестовывал, осуждал пенящуюся в сердце гневность, но не мог остудить уже закипевшей жажды бунта. Бунта против, когда-то, по недоумству, столько раз задираемой, дразнимой, а теперь вот совершенно реально представшей смерти. Его смерти.

Смерть не пугала, а именно злила. Бесила, – тем, что сама назначала срок. Безо всякого учёта Буслаевой воли.

Зотик нашёл его на вокзале, в крапивных порослях за дальним почтово-багажным ангаром. Влипнув спиной в жёлто-красненную кирпичную стену, Буслай, судорожно давясь, загонял в себя остатки водки из плоской гранёной бутылки. Удерживая ладонью рвоту, скосил слёзно блестящие глаза на набегающего старичка:

- Это вторая. Так что доза для моего нынешнего веса уже почти летальная. Ха-ха, щас как полечу!

- Господи! Иисусе Христе! Ну что ж ты, дурья башка, делаешь? – Зотик вырвал бутылку, бросил под ноги, зачем-то начал топтать. – Расточись! Расточись!

- Сказано тебе: я уже летальный. – Хохотнув, Буслай взмахнул руками и закаркал. Но тут же, сгибаясь от боли, нутряно закашлялся.

- Что ж ты чудишь, горе-горькое, что ты себя мытаришь? Пойдём-ка, сынок, домой.

Буслая качнуло-откинуло:

- Нет у меня никакого дома. Никогда не было. И меня тоже не было.

- Господи, помилуй. Да какие же ты, Олежек, глупости мелешь?
- Следа за мной нет! Ни дома, ни дерева. Ни сына. Сдохну, и – пустота.
Он жестом фокусника вынул из-за спины бутылку:
- Всё, отец, последняя. И привет, курносенькая! Встречай!

Винтовая пробка никак не поддавалась распухшим пальцам, и Буслай зачертыхался от получавшейся неэффективности самоубийства. Зотик с каким-то смешным подскоком набросился на него, ухватился за рукава и изо всех сил дёрнул. Бутылка звякнула отбитым доньшком, и меж ног борющихся мгновенно расплылась вонючая лужа.

Замерев, они, яростно дыша, несколько секунд всматривались друг в друга. Затем Буслаево левое плечо медленно приспустилось.

Под хлётким ударом Зотик слёг как скошенный.

Зло дошагав почти до угла ангара, Буслай вдруг притормозил, повернулся к стене. Упершись ладонями, быстро согнулся. Вырвало с кровью.

Отеревшись и отдышавшись, поворотился. Нетвёрдо, но с ускорением двинулся назад. И, руки за спину, навис над присевшим уже Зотиком. Отчётливо, совершенно тем же, как два года назад – не своим – хрипловатым голосом спросил:

- Что, отец, довёл? Вот теперь всему и конец.

Зотик, придерживая вспухшую правую щёку, чуть слышно залепетал:

- Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его... И да бежат от лица Его ненавидящие Его... Яко тает воск от лица огня...

Буслая от поясницы к затылку протянуло судорогой. Горбясь и кривясь нутряной болью, зажимая уши большими пальцами, он начал медленно опускаться. А Зотик продолжал молиться всё громче и громче:

- Радуйся Пречестной и Животворящий Кресте Господень! Прогоняй бесы силою распятого на тебе...

Буслая окончательно придавило к земле, и, под явственным насилием сгибаясь-разгибаясь, он тыкался и тыкался лбом в водочную лужу. Но голос исходил прежний, чёткий:

- Ты почему смерти не позволяешь? Тогда спасал, теперь?

- И ныне! И присно! И во веки веков! Аминь! – Закончил Зотик молитву почти в крик, широко крестя себя и Буслая.

С колен они опять всматривались друг в друга. И вдруг Зотик, осторожно положил свои лёгкие ладонки на Буслаевы плечи и почти улыбнулся, вздёрнув лопнувшую губу:

- Олежек, ведь то не я – то Господь наш, Иисус Христос тебя живит. Не перебить человеку милости Его.

И, притянув к груди сотрясаемую прорвавшимися рыданиями голову, вздохнул:

- Ох, горе ты, горькое! Только не пей больше, не унижай в себе Бога. И будет тебе жизнь. Долгая!

Что потом?

Буслай уехал в Иваново, устроился укатчиком в «Дорстрой» латать магистрали федерального и областного значения, что б иной раз да появляться в райцентре, где вдруг, пусть издалека, – случайно! – да увидеть маленького мальчика Егора. Понятно, что не пил Буслай, не курил. И дивя, а более раздражая недоуменных сотоварищей, соблюдал посты и не пропускал воскресных богослужений.

Может, от правильного образа жизни, а, может, от чего иного, но жизнь его длилась. И длилась без особых болезней.

А Зотик?

Иеродиакон Зотик отошёл ко Господу через три месяца.

Медицинская экспертиза заключила, что приведшая к смерти старика пневмония осложнялась обширным рубцеванием печени. Причина же стремительного развившегося цирроза, *скорее всего*, обусловлена была застойной сердечной недостаточностью. А, *возможно*, наследственным нарушением обмена веществ. Ведь почти у тридцати пяти процентов пациентов этиологию заболевания современной науке выявить пока не удаётся.

Конечно, это для тех, кто не всё ведает.

ДА КАК ЖЕ ТАК?

Лизавета задыхалась, но не отставала от других, бочком сползая, перечохивала через рельсы, и опять бочком трудно вскарабкивалась на платформу. Так что на третий путь успела к открытию дверей вместе со всеми. Из синих вагонов скорого «Новокузнецк-Кисловодск» вслед за проводниками на сырой после утреннего дождика асфальт густо попрыгали проезжающие. На призывы и предложения мужики, прикуривая, только смято и угрюмо молчали, шурясь в поисках киосков, а вот женщины, в халатиках поверх трико, прижимая к груди кошельки, сразу же вступали в выяснение цен. А чего спрашивать? Всё давно устоялось, бери, если надобно. Кто на чём, а Лизавета свой «бизнес» строила на овощах и фруктах. Сосиски в тесте и пиво – это неплохо, прибыльно, но ими торговали от «фирмы», как, собственно, и пирожками или бёдрышками. «Левых» пресекали сразу и жестко. Не дай кому Бог из новеньких попробовать, бандюки не пощадят и на возраст не посмотрят. А вот чем с огорода – это можно. Сунул полсотни – и бегай целый день с пути на путь, пока живот не развяжется. А как иначе? На пенсию-то не проживёшь, да ещё и сынок стал пить совсем уж по нехорошему, так что и жена выгнала, и на работах не задерживается.

- Помидоры, кому помидоры? – Своего огорода у Лизаветы не было, пять лет, как дачу продали, на похороны мужа ушла, и она просто-напросто закупала с вечера, когда цены падали, кое-что на базаре, дома мыла, раскладывала по пакетам, а с утра вот так и «бизнесменила». Ничего, бывало, что по сотни три зарабатывала. Редко, правда – это на сезон, на вишне и черешне.

- Граждане, берите помидорки! Смотрите, как хороши. Всего за двадцать пять, это же дешевле не бывает. Вон, за вокзалом на рынке такие тридцать! Сходите, посмотрите! – Уловка простая, кто ж куда от своего вагона пойдёт, а действовало безотказно. Услышав про дешёвость, народ вздрагивал, как бы просыпаясь, и далее всё больше зависело от того, были ли помидоры уже куплены на какой-нибудь ранешней станции. Если поезд с юга или запада, то в ответ язвили, что, мол, «в Волгодонске такие пятнашка, а в Ростове и вовсе десятка», но которые ехали от востока, те брали с верой в экономию.

- Берите, они крепкие, мясные – вам одно удовольствие будет. Счастливого пути! – Сунув деньги в нутряной карман, Лизавета засемила в конец состава. – Граждане, берите помидорки! Смотрите, как хороши.

Оставался один, последний пакет, но перед ней успели пройти Любка-буза и Кондратиха. «Конкурентки» прочесали платформу до конца, распахивая те же базарные яблоки и помидоры, и уже возвращались через бесполезную теперь толкучку. Однако, встречно обменявшись косыми взглядами, все трое разом начали кричать громче, назло друг дружке:

- Граждане, берите помидорки!

Конечно, дело дохлое, но и оставаться с последним пакетом Лизавете не хотелось. Да ещё бы и Любку с Кондратихой взять, да и позлить – вот, вы наперёд прощурили, а я и после вас продала! За фирменными синими вагонами стояла пара прицепных, зелёных. Около них докуривали десятка два-три крепких, коротко стриженных парней и мужиков, кто в полувоенной форме, а кто в спортивном и тапочках. Судя по кислым лицам возвращающихся с пивом и сосисками, здесь вообще ничего не продавалось.

- Помидоры! Берите, я уступлю. Все за двадцатку отдам. Последние, за двадцатку. – Получалось почти без навару, рубля четыре с полтиной, если мешочек вычесть, но дело-то принципа.

- Покажите, бабушка.

- Последние. Берите, вам уступлю! – Она метнулась на вопрос, приподняв пакетик повыше. – Что ж мне с ними делать, коли остались? Не домой же....

Две молодых девчонки, одна беленькая, другая чёрненькая, уже прижимали у груди что-то съестное.

- Всего за двадцатку, дешевле не бывает. Вон, за вокзалом на рынке такие тридцать! Сходите, посмотрите!

Беленькая, что чуть постарше, нерешительно протянула руку.

- Сходите, посмотрите. Просто последние, не домой же. Они крепкие, мясные –одно удовольствие. Ну, вот, вот, без сдачи. Счастливого вам пути!

Избавившись от товара, и пряча деньги, Лизавета в краткий, как фотографическая вспышка, миг – словно кто её веки раздёрнул – вдруг ясно-ясно увидела, прозрела своих покупательниц: две молодых девчонки – одна беленькая, лет двадцати пяти, а другая, чёрненькая, и того младше, стояли перед ней в одинаковых, высоко шнурованных чёрных ботинках, в одинаковых, пятнистых, как арбузная корка, зелёных брюках, и только кофточки были разные. А вокруг, в точно таких же пятнистых арбузных брюках и куртках, толклись серьёзные, сильные парни. И один, у самых ступенек, держал почти неприметный под локтём короткий автомат.

- Счастливого вам ... вы же ... туда? Туда?

От этого неожиданного и даже большого прозрения Лизавета как-то так потерялась, что не могла сдвинуться с места. Ровно пришипленная, она, неловко перетаптываясь, медленно поворачиваясь вокруг оси, и искала, взглядом просила чьего-то стороннего подтверждения тому, что уже и сама поняла, да только никак не могла высказать через перехваченное судорогой горло:

- Вы же ... милые... туда.

Судорога от горла потянулась к сердцу.

Поезд хрустким толчком сдёрнулся и, почти бесшумно проскользнув вдоль перрона, всё быстрее покатился мимо бесконечного разветвления путей, мимо складов, гаражей, ангаров, окраинных панелек, усадеб и дач Саратова. Фирменно синий «Новокузнецк-Кисловодск», с двумя прицепными зелёными.

Отсидевшись на лавочке, Лизавета потихоньку пошаркала к дому. На углу Советской чуток постояла – свербела мысль, что на эти проклятые деньги, что она взяла с девчонок, нужно бы поставить в церкви свечи. За здоровье. Но сердце опять остро закололо, и, смалодушничав, она не свернула, прошла храмовый поворот.

Ночь томила нудным постукиванием дождя по водосливам, шуршанием яблоневых листьев, опустившихся до первого этажа их старого деревянного дома, тяжёлым храпом пьяного сына. О-хо-хо-х! Когда тебе семьдесят, то, если не удалось уснуть сразу, тогда жди – может, повезёт, и ещё сможешь придремнуть под утро. После валокордина боль притупела, но совсем не отпускала, то и дело как-то царапая изнутри, однако вставать, идти на кухню, что бы накапать ещё, сил не было. Ладно, пройдёт, чай не впервые, можно и потерпеть. Потерпеть, подождать. Так вот она и лежала, ждала, то закрывая глаза, то лупясь в потолочную мглу. «Да как же так? Девчонки на войну, а я с них двадцатку. Ох, стыдобище-то, Господи». Слёз бы, хоть чуток, тогда и сердцу полегчало б. Но в глазах сухо, только щёки припекает. «Как же я так? Как же так? Чего ж сразу не разглядела? Молоденькие совсем, красивые. Медсёстрами, поди. Или поварихами».

Такой же молодой и красивой запомнилась тётя Варя, когда они в сорок третьем провожали её на фронт. Из Новосибирска. Тётя Варя была младшей маминой сестрой, и они приживали у неё, когда убежали от немцев, в десятиметровой коммунальной комнате: мама, бабушка, четырнадцатилетняя Лиза и пятилетка Люська. Провожание помнилось как сейчас: ноябрь, огромные хлопья снега, страшно шипящий паровоз с красными колёсами, и тётя Варя, в белом полущубке, в ремнях, с обрезанными волосами под новенькой солдатской ушанкой с косо прицепленной звездочкой – почему-то вдруг такая жалкая-жалкая. Первой разревелась Люська, даже обниматься не хотела, потом мама с бабушкой. А у Лизаветы вот так же, как сегодня, только сухой резью перехватило горло.

Варю убили в самом конце войны. Под Прагой.

А как они к ней добирались до Новосибирска, это особая история.

Отец служил шифровальщиком в штабе полка, возле Могилёва, и летом сорок первого находился на учениях у самой границы. В субботу 21-го июня мама сводила их в зоопарк, солнце палило, и все животные попрятались по избушкам, одни только белки прыгали по сеточному потолку. От пустых клеток сильно воняло, а ещё они с Люськой напились лимонаду «по уши», так что сестрёнка ночью «обдулась».

Утром в небе гудело много-много самолётов, и вдруг стали стучать в двери и кричать: «Война! Война!»

Налёты немецких самолётов на сам Могилёв начались в понедельник, и потом уже не прекращались, по несколько раз в день выла сирена, и репродуктор приказывал спуститься в бомбоубежище. Это было страшно и интересно. Центр города мгновенно заполнили беженцы, через три дня магазины опустели, и есть стало нечего. Тогда мама, с соседкой, тоже женой офицера, собрали вещи в чемоданы и повели детей к военкомату. Там уже собралась огромная толпа, все волновались, толкаясь, записывались в какие-то очереди, маленькие дети плакали. Сутолока была ужасная, Лизавета, которую, как старшую, оставили около кирпичного забора следить за малышнёй и вещами, сама была готова раскричаться. И все слушали небо. Мама и соседка попытались войти внутрь, да куда там! Комендант никого не принимал, время от времени подходил к окну второго этажа и кричал: «Граждане! Товарищи! Никаких машин нет! Когда будут – не знаю!» И вдруг к воротам военкомата вывернули три крытых грузовика, и из первой кабины выпрыгивает офицер – папин сослуживец. Эта колонна с грузом радиостанций направлялась к фронту, но у самого Могилёва её жестоко разбомбили, остались только эти три, пощерблённые осколками, автомобиля. Командир колонны за руку провёл маму внутрь здания. Потерянный комендант только отмахнулся, разрешив прихватить семьи офицеров до ближайшего действующего вокзала, и вот они забрались в заставленный всякой военной аппаратурой, закрытый зелёной фанерой кузов. Сидели плотно, Люську, из-за тряски, мама держала на коленях, а Лизавета то больно прыгала на жёстком ящике, то привставала, пытаясь выглянуть в крохотное окошечко. Во второе не отрываясь смотрел угрюмый солдат. Где большаком, где просёлками они весь день до темноты ехали на восток, заночевав в большущем сарае с телегами и конными граблями. К вечеру второго дня добрались до Орши. Но там железнодорожную станцию только что разбомбили, горели цистерны с горючим, и патрули никого не подпускали. Город под чёрным от жирного дыма, низким небом казался мёртвым. От страха Лизавета закрывала ладошками глаза, а всё же, иногда выглядывала: вот – нет части дома, и квартиры, как ячейки в улье, оголены, видно мебель, шторы, по стенам висят зеркала, картины. Совсем близко, прямо над поворотом свисала зацепившаяся за что-то кровать, а на ней – кукла. Выбравшись за город, поехали дальше очень медленно. По дороге – сплошной поток беженцев: старики, женщины, дети, все с котомками, чемоданами, узелками, многие с колясками, но в них тоже лежали вещи. Рядом бежали самые разные собаки. Мама, укачивая ноющую Люську, громко спросила солдата: «И далеко ли они вот так? Когда немца-то остановят?» Тот промолчал.

В Смоленск колонну беженцев опять не пустили, так как город бомбился непрерывно. Привычный уже чёрный дым, «туканье» зениток, дальний вой пикирующих бомбардировщиков и гул сплошных разрывов. Следующей станцией было Ярцево. Слава Богу, там вокзал хоть тоже сильно обгорел, но работал. Наскоро попрощались со своими спасителями и втиснулись в уже переполненный товарный вагон. Едва они нашли место, где разместились на своих вещах, как вагон дёрнулся, и покатился. Куда? На восток, лишь бы на восток. Всего в маленьком, остро продуваемом во все щели, гремучем товарнике сидело и лежало человек сто. Всё сплошь женщины и дети, мужчин только пятеро, они и держались кучкой. Курили у входа. Все оказались без продуктов, даже воды не было, и солнечная жажда мучила надоедливо кричавших малышей.

Останавливались часто и надолго. Просто в поле и около крохотных деревень. Кое-где местные подносили к вагонам хлеб, молоко, картофель и свежую зелень. Бабы смотрели, как они едят, и плакали вместе с матерями. Денег никто не брал: «Грех, вы ж оттуда». И опять все слушали небо.

Лизавета с другими девчонками сбегала в кусты и возвращалась, когда около самых раздвинутых ворот вагона её остановила тяжело дышащая бабка:

- На, милая, возьми, возьми. – Бабка всучила тяжёлый белый мешочек, и быстро перекрестила. – Это сахар. Чай, сладенького-то хочется?

Мама помогла взобраться, приняла бесценный подарок. А когда выглянула, чтобы поблагодарить, бабка уже тяжело шла прочь.

Ближе к Москве стали кормить организованно, на вокзалах из военных кухонь.

На станции Шачунья Горьковской области тех, кто не имел никаких родственников в России, на Урале или Сибири, пересаживали в машины и развозили по ближним деревням, а кому было куда, дальше отправляли уже плацкартными.

Первое сентября в Новосибирске было дождливым. Третьеклассница Лизавета, с полным портфелем и в пальто, весила 23 килограмма.

Зарплату мама, устроившаяся помощником фрезеровщика-зуборезчика, получала крохотную, чуть-чуть помогало пособие за отца – пришло сообщение, что он пропал без вести. «Без вести – это ещё не пропал», – и мама ждала, ждала, то и дело бегала в военкомат, а дома каждый вечер ставила дочек перед бабушкиной иконкой: «Детская молитва – что ангельская, к Богу близко».

А в марте 42-го вдруг пришло письмо, и почерк был красивый, ровный: «Ваш Дмитрий служил в моём штабе. 16 июля 1941 года в восьми километрах от Молодечно в лесу нас окружили немецкие танки. До ночи мы вели неравный бой, а в темноте решили прорываться. Немцы, видимо, знали, что здесь крупный штаб, и крепко держали нас в кольце. В полночь мы всё же пошли в атаку. Бросали гранаты и, пробежав, ложились. Опять бросали и бежали дальше. Дмитрий вышел со мной, но где-то мы оторвались друг от друга, я его потерял. Ночь была очень тёмная. С группой из 70 командиров я прорвался через немецкий заслон, и, потом, обходя населённые пункты, мы скорым маршем двинулись в сторону Минска. Не доходя до города 40 километров, сделали привал в роще. Стало светать, рощица оказалась старым кладбищем в несколько соток, а кругом были немцы. День отсиделись, и в сумерках продолжили путь. И тут повстречали группу из четырёх человек. Среди них был ваш муж. Я обрадовался, но предупредил, что бы он от меня больше не отрывался. Мы договорились, что при ранении один не оставляет другого, а если кого убьют, то второй сообщит семье. Так мы и шли. Где-то под Дзержинском Минской области увидели на горизонте большой лес. Мы были уже совсем рядом, но он оказался занятым немецкой моторизованной частью. Я отдал команду: «ложись», и приказал отползть. Однако немцы нас всё-таки заметили и открыли огонь. Стреляли в упор, спасала лишь темнота. Отступив, мы собрались в овраге, пересчитались – 60 человек. Я послал двух лейтенантов назад, поискать – нет ли раненых. Они осмотрелись, нашли шестерых убитых, но вашего Дмитрия там не было».

Это письмо они заучили наизусть, так как читали его каждый вечер, а потом обсуждали и фантазировали. Но в середине лета 45-го маму вызвали в военкомат и сообщили, что отец считается погибшим и нам полагается пенсия.

Люська после этого про Бога никогда не слушала. И про ангелов.

Это потом, уже в 49-ом, выяснилось, что папа погиб не на фронте, а раненым попал в плен, где скончался в Польше в концлагере.

Когда сёстры с такой разницей, то ссоры и даже драки неизбежны. По любому поводу. Но они и мирились тут же, вообще, больше дня друг без дружки не выдерживали. Даже когда Лизавете исполнилось семнадцать, а потом и двадцать, «хвостик» всегда был рядом. Даже в театр за восемь километров они ходили вместе. Одевались, кутались, и шли, шли на ту сторону за мост. Возвращались за полночь. Ели холодную картошку и делились впечатлениями.

Когда Люська выросла, тогда уже было много легче: Лизавета хорошо получала на стройке штукатуром, и они смогли её выучить на инженера-химика. Ох, было дело, когда та вдруг зафорсила, закуражила, когда диплом выдали! Скоро, правда, опомнилась. Поработав по распределению в Уфе, Люська вышла там замуж, родила сыночка Костика, и уехала за своим Федей в Грозный, на нефтеперерабатывающий, где его назначили начальником цеха. Зарабатывали они там дай Бог, машину быстро купили, потом другую, дачу большую выстроили. Зачем, спрашивается, если каждый отпуск на море отдыхали? Но и к ним приезжали, два раза, да с такими подарками, что не отдариться.

А как Костиком своим хвалились: и школу-то он с медалью кончил, и в институте только на отлично учится....

Только последняя весточка от них в девяностом пришла. С восьмым мартом. И после как сгинули. Лизавета и писала, и переговоры заказывала, но с этой проклятой перестройкой почта совсем разухабилась. Всё как в подушку. А там и СССР распался.... Где ж они теперь? Ни письма, ни открыточки. Наверно, беженцы, – вон, про Чечню люди такие страсти рассказывают, что и слушать-то не хочется. И по телевизору одни ужасы. Война на Кавказе, потом вторая. Террористы, заложники... Ох, Люська, Люська.... Да как же это так, что люди в наше время целыми семьями пропадают? Как же так? Нет, нет, уж лучше думать, что они где-то беженцами. Мало ли где, не маленькие, пристроились.... Мир не без добрых людей.

Не без добрых.... Вот-вот, сахар тот, в белом мешочке, вспомнился....

Девчонки, молоденькие, красивые – а она с них....

- Господи, Господи, прости меня, дуру окаянную!

Светало серо, пасмурно. В соседней комнате сын, скрипнув на прогибающейся сетке, тяжело сел, потом со стоном встал, прошлёпав босиком на кухню, звонко черпанул со дна ведра и похмельно громко сглотнул. Возвращаясь, словно что-то почувствовал и свернул к матери. Слепо пригнулся к изголовью:

- Ты чего? Ревёшь, что ли?

- Нет, так это. Сердце схватило.

- Ну вот, и молчит! Сказала б, я чего накапал. А то, может, «скорую» вызвать?

- Отходит уже. Легчает. Я просто полежу. А ты, сынок, лучше вот что: возьми-ка эти деньги и поди прямо сейчас в церковь, поставь там две свечки. Две, по десяти рублей. Поставишь к Иверской, что справа от входа – большая такая, увидишь. Только умоляю: поставь честно, не пропей.

- Мать!

- А то я не знаю, о чём ты уже подумал. Эти деньги не тронь. Я на опохмелку тебе другие дам. А эти страшный грех трогать. Страшный.

*

Люська аккуратно завесила плетёной дорожкой вход в землянку, прощупав подсыхающее на кустах бельё, подозрительно взгляделась в небольшое, но плотное облачко. Разгладила ладонями по груди концы платка, прихлопала карманы пиджачка, и перешагнула за проволоку, которой огородила свой участок от скотины. Ещё раз оглянулась на облако и, чуть горбясь, быстренько зашагала в сторону автовокзала.

* *

На четвёртом посту, расположенном на верхнем этаже бывшего заводоуправления, к мощному стационарному биноклю, выставленному в направлении блокпоста, приникла молоденькая девушка с высоко закатанными рукавами камуфляжа.

- Так чего же у нас сегодня на обед? – Дежуривший, дёрнув плечом, закинул подальше за спину изрядно отяжелевший за три часа АКМС.

- Борщик, со свининкой.

- У, замечательно!

- Хорошо как видно-то.... Вот они какие... чехи... А там ... русская старушка идёт?

Постовой пригнулся, заглянув в ту же бойницу:

- А, эта! Да, она тут рядом в землянке второй год живёт.

- В землянке? А чистенькая какая, на бомжовку совсем не походит.

- Контуженная, наверно: не разговаривает ни с кем и всё время стирает. Стирает и стирает. Бжик какой-то. Тут русские, которые остались, все со бжиком.

* * *

Люська вернулась вовремя – дождик едва лишь sprysнул пыль на листьях, не успев промочить развешенные вещи. Наскоро собрав всё в охапку, она занырнула в свою берлогу, и, свалив бельё на нары, облегчённо присела рядом. Дождавшись, когда разволновавшееся сердце перестанет колотиться, осторожно вынула из стеклянной банки спички, чиркнула. Зажгла самодельную, слепленную из найденного в прошлом году большого куска парафина, свечку и снова затаилась. Дождь за занавесью набирал силу, и как бы не залило. Порожек она, конечно, выложила высокий, но – мало ли, бывало же. Даже приходилось бросать жильё и выкапывать новое. На такой случай на устеленном полыньё от земляных блох полу всё хранилось в стеклянных или же жестяных баночках, в кастрюльках и капроновых тазиках. Мало ли!

За нарами, у торцевой стены землянки притулился фанерный ящик, служивший ей столом. Люська на нём ела и писала письма. Вернее, одно письмо. Которое, не смотря на все старания, получалось неровным, некрасивым и с помарками. Его приходилось сжигать и писать заново. Потом ещё и ещё. Все девять лет она писала про то, как на заводе в первый раз появились горцы и стали сгонять всех на выборы Дудаева, и про то, что потом русских стали массово увольнять, а зимой в собственном гараже убили мужа Федю и угнали машину, но тогда уже убивали многих – и её подругу по ОТБ Елену Ивановну, которая ветеран войны, убили и вынесли всё из квартиры, и соседа Петра Трофимовича, что с 1905 года рождения, ударили девять раз ножом и изнасиловали дочку на той же кухне, и потом тоже зарезали. Саму Люську два раза избивали, врываясь в квартиру, ломали рёбра и пробивали кастетом голову, сначала забрали всё ценное – хрусталь, ковры, цветной телевизор, а потом и вовсе приказали убираться на улицу. Тогда они с сыном спрятались в частном домике у Осиповых. Костю тоже много раз били и раздевали, хотя он работал на стройке дворца Закаева, за еду. В 95-м, когда начался штурм, в домик попала авиабомба, и после они жили в яме, где раньше хранились овощи. Русские солдаты быстро ушли, а им уехать было не на что. Да и чеченцы больше никого не отпускали.

Дальше письмо никогда начисто не получалось, приходилось сжигать и начинать заново. И с каждым разом писала Люська реже – становилось всё труднее найти хорошую, неиспользованную бумагу. А ведь нужно было рассказать сестре ещё и о том, как Костеньку под Новый 1997-й год схватили прямо около автовокзала, запихнули в «жигули» и увезли в горы, а когда через год он вернулся из рабства весь растерзанный, тощий, беззубый, то каждую ночь рвался куда-то убежать. Люська, как могла, сторожила сына, но однажды тот всё-таки ускользнул. Она искала, бегала по ближним и дальним улицам под красно подсвеченным пожарами низким небом, звала, звала, а потом вдруг подумала, что он может прятаться в их бывшем гараже.

В это время пошёл снег. Огромные кружащиеся хлопья залепляли черноту руин, влажно клонили ветви самшита и заслоняли, отдаляли багровые всполохи нефтяных факелов над промзоной.

Когда она потянула подпёртую какой-то палкой железную гаражную дверь, оттуда страшно пыхнуло и навстречу ей с громом рвануло облако дыма.

Первое, что Люська увидела, придя в себя, – как сквозь испачканное глиной зелёное пальто частыми пятнышками выступает красная кровь. Но это было совсем не больно, ибо над головой в близком и широком небе стоял удивительный по нежной красоте хрустальный звон, как в Рождественскую ночь, когда, если затаить дыхание, то слышишь, как звенят при падении разноцветно сверкающие снежинки. В чудном, частом перезвоне ей стало так легко и светло, так хорошо, что казалось – чуть-чуть, и душа вырвется, взовьётся навстречу этой кристальной нежности! Мир искрился и кружил тихими звуками – «динь-динь-динь... динь-динь-динь...», перезвоны, свиваясь и сливаясь, превращались в частые детские голосочки: «динь-динь-динь...» – «Святой Боже, Святой Крепкий... динь-динь-динь... Святой Бессмертный...» – «Динь-динь-динь... динь-динь-динь...». Да это же ангелы! Это ангелы поют! И опять, только уже подальше: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный...» – и совсем-совсем издалёка – «динь-динь-динь...».

Люська тянулась, из последних сил тянулась к нежно тающим звукам, но что-то мешало, никак не пуская к ним... А! Это же пальто! Это оно своей глиной и кровью не отпускало её в эту кристально чистую красоту. Но сил снять, избавиться от грязной одежды не было. И голоса отходили, отходили. Пока не наступила полная тишина. Тишина навсегда.

Да как же так? Как же это так?

И сколько потом она не меняла одежду, сколько не стирала, не отшёркивала её, и снова, снова меняла и стирала, стирала, стирала – но кровь и грязь всё равно проступали множеством мелких пятен. И сколько она ни слушала небо, там была только тишина. Да как же это так?

Как же так?

ГРЯНУЛО

Дед Зубровин изворчался с самого утра. Да и как иначе? Ещё со вчерашнего заката было ясно: день будет в подарок. Солнце садилось в чистый горизонт, в розовом небе ни тучки, ни облачка. И по реке полное безветрие и тишина. Даже стрижи поднялись, так что и гадалок не надо. Ни митерологов. Таких деньков за этот месяц по пальцам пересчитать, каждый как праздник помнился. Весь покос в дождях шёл, сено собирали уже чёрное, возки не стожили, боялись, что запреет и загорится. Можно, конечно, присолить. Только скотину не обманешь. И что за напасть в этом году? Правду говорят, коль весна рано началась, так до поздней осени и протянет, не изжаришься. В зиму бычка придётся сдавать сразу, какие тут заработки, корову бы прокормить. И надо же, в такой вот на радость рабочий день, его бабка покатила в город. Подоила – и сразу на пристань, на «зарю». А ему и свиньи, и гуси, и куры, и одному теперь ещё валки переворачивать. Изворчался Зубровин, изворчался.

Так-то ладно, он ведь всё понимает, – коли народ её попросил, оказал доверие, надо стараться. Раз выбрали старостой по приходу, так оно теперь пусть и будет, он не против. Но и другое в расчёт брать необходимо: какие же летом бумажные хлопоты? Летом, когда один день год кормит. Что уж так там их всех приспичило, чтобы посреди страды в область ехать, эти подписи сдавать? Там, в городе-то, конечно, всё равно, а в деревне всё же маленько думать надо. Вот наступит зима, огород приберётся, гуси поколются, куры лишние, там, кабанчик оприходуется, да и корова запустится от молока, – так хоть на неделю езжай! И собирай свои бумажки, и отдавай, и сиди по приённым. И с уполномоченными, и с благочинными встречайся, хоть с самим епископом, коли тебе такой почёт выпал. Но не в покос же!.. Только разве с его бабкой поспоришь? Характерная она с самого молоду была, теперь тем более не выправишь. Что вобьёт в голову, то и тешит, хоть разрази её гром.

С такими мыслями Зубровин примотал к раме велосипеда грабли, закрепил к багажнику свёрток с обедом, и покатил на дальнюю елань. Полевая дорожка пробежала вдоль овсяного поля, пересекла по дамбе стоптанного стадом пруда поросший березняком ложок и вывела на длинную, скошенную на паях гриву. И тут, успокоившемуся, было, Зубровину опять стало обидно. Все, ну все на своих полях работали семьями. Куда ни глянешь, везде – мужик да баба. Переворачивали, гребли и метали копёшки вместе с детьми и внуками. А он всегда как сыч. Даже здороваться, отвечать на их весёлые голоса не хотелось. Нажав на педали, выставился под ноги, словно очень боялся наехать на какого-нибудь перепелиного слётка или зайчонка. Километров через пять грива просела, расплылась, и дорога запетляла промеж кочковатых лужаек и мусорного ольховника. Здесь было безлюдно тихо, слева начиналось болото, другого края которому не было. Зубровин остановился поправить свёрток и протереть вспотевшую под кепкой лысину. Сразу вокруг заняли редкие уже, августовские комары. Мошка за велосипедом не попевала, а эти тут как тут. Рядышком посреди обнажённой глины бил родничок, образуя кривую чашу. Он осторожно набрал в бутылку ледяной, со ржавчинкой воды, попил. Хорошо. Плеснул за ворот. Ух, хорошо. От леса грибами пахнет. Тишина настоящая, только перелетающие с метёлки на метёлку конских щавелей щеглы пересвистываются. Конечно, с бабкой пришлось бы на мотоцикле ехать, трещать, бензин тратить. И не попил бы из этого родничка. Из которого пил уже без малого семьдесят лет. Ещё с покойными родителями здесь каждый покос останавливались. Ох, как же давно это было.... Потом и своих детей тут прохлаждал. Да. И где они, его дети? Конечно, у других и хуже бывает – эти, слава Богу, все живы-здоровы, и внуков нарожали. Хоть изредка, но видятся. Только какие-то его дети очень городские получились, что сын, то и дочери. Словно отрезанные. Приезжают ровно на неделю и так навозу бояться, будто впервые его видят. Носы воротят, ботиночки по пять раз на день вытирают. Куда там, инженерная интеллигенция. Выучились на начальство, простого труда чураются. И за столом то и дело тычут: «так не говори, так не бери!» А от родительского творога

да сала не отказываются. И варенья, и соленья не по силам вывозят. Нет, он не к тому, что жалко, а к тому, что можно бы и помочь. Неужели они, в самом деле, забыли, как этот самый навоз по огороду вилами раскидывали? И воду таскали, и картошку окучивали, и корову доили. Было же, было! А сейчас? Как вот нынче можно на земле-то развернуться. Власти не дают, сколько сможешь скотинки держать, столько и держи. Это тебе не при Хрущёве. И огороды никто никому не урезает. И теплицы не промеряет. Живи. Вкалывай! Обогащайся! Так нет, никого не уговоришь, им лучше в этом своём городе по полгода безработными сидеть, либо на морозе в ларьках позориться. С вышним образованием. Тьфу! А они-то с бабкой радовались: вот, деточки учатся, вот учатся! Погодите, завернёт вас жизнь ещё, припомните папкины уговоры.

Дальше дорожка была почти не езженной, кроме рыбаков никто ею давно не пользовался. Перелески, болотца, длинные узкие протоки. Это были их потомственные угодья, другие и не зарились. Ибо тут нужно было точно знать, где какие поляны годились для покоса, а какие торчали кочками, так, что литовку обломаешь. Пятачок на пяточке, заплатка на заплатке. Не поделишься. Но смех смехом, а пять-шесть возов всегда набиралось.... Зубровин сердито открутил грабли и начал с левой крайней полянки. Переворачивая валок за валком, опять взъялся на уехавшую супругу. Такой день, такое ведро стоит. Небо как стёклышко. Как бы щас вдвоём вмиг всё перевернули, подсушили, а после обеда можно было бы и копёшки скидать. И пусть потом мочит. Не страшно. Ну, баба, ну, досталась ему. Что ей с этой церковью так втемяшилось? Жили же без неё, жили бы и дальше. Кому надо, так поезжай в город, окрести там кого или ещё чего. А в прошлый раз поп и сам собой приезжал, так совсем благодать была. Нет, сговорилась с такими же старухами, собрали приход. Задумали батюшке дом купить, а потом и строиться. Ничего себе, фантазёры: где денег-то возьмут? Из пенсий? Или кто им подаст? Какие такие спонсеры? Дуры. И его – главная. Вместо того, чтобы делом заниматься, в город, видишь ли, она подалась. Ну что за баба? А если бы он не был таким терпеливым? Другой, на его месте, уже как врезал бы промеж ушей, – узнала бы как эту свою церковь строить. Точно бы узнала.

Из-за верхушек невысоких берёзок и осокорей неожиданно выросло округлое облако. Немного повисев на месте, оно стало расплзаться, быстро чернея серединой. Осеребряя осинки, дунул ветерок. И Зубровин окончательно рассвирепел. Вот, пропади эта церковь пропадом, коли сейчас польёт! Всё насмарку. Что он один вот так успеет? Нет, вечером он ей устроит. Точно, устроит. Он ей всё выскажет, богомолке. И про то, и про это....

Вихрь ударил так, что деревья разом застонали, засвистели полетевшей листвой и мелкими веточками. Небо в минуту закрылось, где-то громыхнуло, и на землю упали первые холодные капли. В сердцах бросив ненужные грабли, Зубровин, сгорбившись, вслед за несомым вихрем сеном побежал под деревья. Ливень догнал его около старой, развесившей до земли свои мятущиеся бичами ветви, берёзы. Обняв издолбленный дятлами узластый ствол, он, упрятав затылок в поднятый воротничок, зло смотрел, как по пресыщено невпитывающей земле быстро растекаются пенящиеся лужи. С козырька кепки струйка текла прямо на нос, спину остро зазнобило. Ну, бабка, всё! Всё! Ко всем чертям! Достала ты его со своею верой!..

Он не увидел ни молнии разбившей на пополам обнимаемую им берёзу, не услышал раздирающего всё вокруг треска. Он просто понял, что лежит на спине и смотрит в голубое чистое небо. В ушах звон, во рту солоноватый привкус крови. И всё. Зубровин снова опустил веки. Звенит, звенит. А почему он лежит? Что, вообще, произошло? Где он? Попытался так, не открывая глаз, сесть. Вроде удалось, только тело совсем не ощущалось. Как после хорошей пропарки в бане. И звон, звон. Он прикоснулся ладонью к груди и резко раскрыл глаза: да, грудь была голой! Качаясь, встал на ноги, недоумевающе оглянулся. Когда он вставал, с него окончательно свалились клочки оставшейся обгорелой одежды. Зубровин, прикрывшись руками, оглядывался по сторонам, пытаясь понять, вспомнить что здесь с ним произошло. Поляна, покос. Вон его грабли. Но сам-то он почему нагой, как Адам какой-то? Из всех одеяний на онемелом бесчувственном теле только маленький дюралевый крестик на суровой нитке. За спиной развалилась, словно гигантским колуном расщеплённая пополам, берёза. Береста по краям раскола ещё смоляно горела.

И он вспомнил.

Прошло двенадцать лет. В их селе поднялся высокий каменный храм. Каждое воскресенье стоит на службе старик Зубровин. Уже давно его супруга по здоровью отстранилась от приходских дел, часто даже в праздник не в силах дойти до церкви. Так что в последний пост и

соборовали её на дому, – ноги совсем не дюжат. А он ходит. И стоит всю службу около правого клироса строго, не шелохнувшись, как бы что не болело. Разве только когда крестится, иной раз и улыбнётся. Уж точно это про него было сказано: «пока гром не грянет...».

И слава Богу.